

Л. СОЛОВЬЕВ

ПОХОД  
ПОБЕДИТЕЛЯ



ГИХЛ







394.71  
С = 603

Л. СОЛОВЬЕВ

# ПОХОД „ПОБЕДИТЕЛЯ“

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

2390  
~~4631-55~~



||  
4939  
12



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
1934

16-я тип. треста «Полиграфкнига»  
Москва, Трехпрудный пер., д. 9



Редактор О. Резник  
Художник Л. Эппле  
Технический редактор Е. Лукашевич  
Корректор В. Казанский



Тираж 7000 экз.  
Огиз № 149 X—11. Зак. тип. № 622  
Уполномочен. Главлита Б-37846  
Форм. бум. 82 × 110  $\frac{1}{2}$  доля  
Сдано в набор 5. 6. 34  
Подп. к печ. 21.7. 34  
Зн. в 16 л. 107554  
бумажных  
л. 21<sup>1</sup>/<sub>6</sub>

## ПОХОД «ПОБЕДИТЕЛЯ»

Телеграфист Семен Семенович Моржедов был необыкновенно волосат. Весь полустанок дивился, как терпит Семен Семенович летнюю жару в такой шерсти. Однажды вечером, сидя на крыльце фельдшерского дома, он вознамерился научно обосновать свою волосатость и сослался на пример туркменов, которые ни зимой, ни летом не расстаются с папахами, почему между ними крайне редки случаи как головной простуды, так и солнечного удара. Фельдшер— человек лысый, ехидный и противоречивый—сейчас же начал опровергать эту теорию.

— Чужой волос, точно, жару оттягивает,—говорил он,— и, кроме пота, папаха вреда не приносит. А свой волос жару на мозг проводит. Так же и холод. Не говоря уж о вшах.

— Вошь бы и у тебя завелась, да негде,—ответил Семен Семенович, необдуманно намекая на совершенную оголенность бегичевской головы.

Бегичев вспыхнул:

— Я волосы на фронте потерял! От контузии! А ты от безделья оброс. Волосатость есть признак низкого умственного развития и означает, что человек еще недалеко ушел от обезьяны. Вот что!

— Пусть я обезьяна, а ты коновал!—вскричал уязвленный Семен Семенович.—Подумаешь, академик? Ты и по латыни-то плохо знаешь. Ротный!

Впоследствии Семен Семенович и сам не мог понять, как он решился нанести фельдшеру столь тяжкое оскорбление. Бегичев в свое время три года изучал теорию ме-

дицины и получил диплом фельдшера школьного, в отличие от ротных фельдшеров, которые всю науку проходят на военной службе только практически, прислуживая врачам, сначала в качестве санитаров и уж потом—фельдшеров.

— Гражданин Моржеедов, позвольте вам выйти вон, раз не умеете держать себя в обществе!—воскликнул фельдшер, простирая руку в синеватую даль пустыни.

— Подумаешь — общество!—неукротимо ответил Семен Семенович и навсегда покинул гостеприимное фельдшерское крыльцо.

С тех пор он твердо выдерживал характер и, даже заболевая, не обращался за помощью к фельдшеру, а лечился сам по «Гомеопатическому домашнему лечебнику». В пик фельдшеру он вовсе перестал подстригаться: волосы разрастались буйно, а он при всяком удобном случае говорил, что густота растительности есть признак бытовой воздержанности, в то время как безволосость—явное доказательство жизни развратной, чему живым примером служит фельдшер.

Семен Семенович имел огород. Этот огород был единственным в пустыне и стоил больших трудов. На песке, как известно, овощи и корнеплоды не произрастают, и землю для огорода пришлось возить с деповской станции за семьдесят с лишним верст в мешках и ящиках. Целую зиму трудился Семен Семенович и к весне имел десять квадратных сажен посевной площади при толщине плодородного пласта в поларшина. Опустошив станционную уборную, он тщательно удобрил землю, устроил грядки, камышевые навесы от зноя, побещал начальнику полустанка Петру Еврафовичу Дулину свежей редьки и получил от него разрешение пользоваться для полива железнодорожной водой.

Ехидный фельдшер немедленно написал в «Гудок» заметку: «Казенная вода растрачивается на частные огороды», но потерпел фиаско: заметки не напечатали, в почтовом ящике ответили следующее:

«Сары-Булак. Б-ву. Заметка не пойдет. Никому не возбраняется пользоваться водопроводом для поливки огородов».

Почтовый ящик с головой выдал фельдшера: только один он в Сары-Булаке носил фамилию, начинающуюся на «Б» и оканчивающуюся на «в». Семен Семенович в глаза назвал его доносчиком, начальник перешел с ним на «вы».

Утро застаёт Семена Семеновича в огороде, который расположен прямо перед террасой и обнесен высоким дощатым забором. Дрожащими от волнения руками Семен Семенович высаживает редиску, помидоры, лук и морковь. Ровно в семь часов он поднимается, палочкой счищает с брюк налипшую землю и направляется к калитке, чтоб поздороваться с начальником—Петром Евграфовичем Дулиным.

Фамилия очень подходит начальнику из-за носа—мясистого, на конце утолщенного, покрытого буграми и рытвинами. Этот нос составляет главное несчастье всей начальниковой жизни: такие бывают только у горьких пьяниц, а начальник как раз убежденный трезвенник. Кто близко его знает, воспринимает нос как игру природы; новый же человек обязательно приписывает цвет и форму носа воздействию алкоголя, чем причиняет начальнику моральные страдания.

Начальнику уже за шестьдесят, но он еще прям, крепок и вне письменного стола обходится без очков. Степенно, в одних подштаниках и туфлях на босу ногу, идет он вдоль платформы, щурится из-под нависших бровей на солнце и чешет мохнатый седой живот. Сзади бежит и нудно мяучит огромный черный котик, до того гладкий, что шерсть его искрится под солнцем.

Этот кот, носящий странную кличку «Клеврет», уже одиннадцать лет живет вместе с Петром Евграфовичем. Разжирел он на даровых мышах: в свое время начальник сделал три мышеловки и ловит каждую ночь по три мыши. Раньше он от скуки дрессировал мышей, коту доставались только неспособные, ленивые, провинившиеся и сверхштатные. Потом дрессировка надоела Петру Евграфовичу; он решил истребить свой зверинец и впустил кота прямо в клетку. Кот рванулся к мышам, но так как был очень тяжел и неловок, то клетку перевернул, и все мыши разбежались. Петр Евграфович жестоко высек кота, но утром утешил, угостив тремя новыми пленницами. Теперь это вошло в обычай. Каждое утро кот бежит за хозяином и орет до тех пор, пока не получит своих мышей.

Начальник подходит к колонке. Ветер надувает его подштаники, как паруса. Бабы уже привыкли к начальниковой оголенности и, не смущаясь, набирают воду. Кот орет издали: хозяин ради забавы не раз обливал его, и он теперь боится подходить близко.

Солнце дробится в неровной струе. Начальник поочередно обливает голову, лицо, плечи, спину и грудь. Он потежится и громко стонет, потом долго обсушивается с помощью солнышка и ветерка. Полотенце он употребляет только зимой: поэтому лицо у него жесткое, глянцевитое и багрово-спиним цветом своим напоминает бурак.

— Солнце, воздух и вода—наши лучшие друзья!—возглашает он.—Попробуйте... Очень даже прекрасно.

— Боюсь холодной воды,—отвечает Семен Семенович.—Сердце у меня незавидное.

— Пустяки,—отвечает начальник.—От холодной воды ничего кроме пользы. Получил я, Семен Семенович, письмо из Ахтырска, от родственника. Домик мне там подыскали... Смородина... На пенсию хочу уйти.

Начальник сладко жмурится, точно смородина, зреющая где-то в Ахтырске, уже попала ему в рот.

— Завидую!—энергичски восклицает Семен Семенович.—Завидую и от души поздравляю. Сколько лет прослужили вы?

— Сорок лет. Ни одного взыскания не имею. Я всегда порядок наблюдал. На железной дороге порядок—это самое главное, как и во всем государстве. Вот, говорят, Рим погиб. А отчего он погиб? Порядка в нем не было...

— Правильно,—соглашается Семен Семенович, любовно оправляя бороду.—А я вот сны плохие вижу. Синих крыс видел сегодня и мужчину голого... К чему бы?

— Мужчину? Не знаю к чему это—голого мужчину видеть. Если женщину, то к болезни. А мужчину... К противоположному, вероятно. К благополучию.

Степенно и неторопливо течет их беседа.

— Здравия желаю!—кричит издали станционный сторож.

— Здравствуй,—снисходительно, не оборачиваясь, говорит начальник.

Сторож берет метлу и принимается за свое ежедневное дело—уборку платформы. Он одет в белую, с синими горошинами рубаху, его каленую шею покрывает сетка глубоких морщин; в курчавых седых волосах нежно розовеет маленькая плешина.

Ветер подхватывает клочья бумаги, окурки, пыль и несет все это далеко за пути, в голую степь.

— Ишь, расселся,—ворчит сторож, почтительно обметая

кота.—Знаешь, что хозяин—начальник, вот и расселся как барин!

Из-за угла выходит сын местного стрелочника—Васька Фомин, комсомолец, студент путейского техникума, проводящий отпуск под отчим кровом. Он гонит перед собой, как футбольный мяч, пустую консервную банку; гонит он ее, очевидно, издалека.—банка вся помята и переменяла цилиндрическую форму на пирамидальную.

— Пора мне на дежурство,—подмигивая, говорит Семен Семенович.

Начальник оглушительно хохочет. Семен Семенович идет в телеграфную.

Телеграфистка Настя Боброва торопится сдать дежурство, потом бежит навстречу Ваське. Вдвоем они идут кататься на лодке (через Сары-Булак проходит приток большой реки).

Если добавить ко всему сказанному, что Насте девятнадцать лет, что у нее чудесные пепельные волосы, а лицом она несколько напоминает Мэри Пикфорд,—читатель поймет, почему так оглушительно хохочет начальник, заведя томящегося возле телеграфной Ваську...

Так начинается сары-булакский день. Вернее, так начинался он раньше, ибо теперь нет старого полустанка Сары-Булак; на его месте выстроена большая узловая станция. Нет теперь и старого Петра Евграфовича, нет и Семена Семеновича. Физически, конечно, оба они существуют и до сих пор продолжают служить в Сары-Булаке, но стали они совсем другими людьми.

А в те времена, о которых идет здесь речь, в Сары-Булаке даже поезда не останавливались, кроме двадцать второго—«максимки», по требованию. Требования бывали раз в год, потому и «максимка» обычно пролетал без остановки, мелькнув фонарями.

Так, ровно, без толчков и тряски, катилась сары-булакская жизнь подобно пульмановскому спальному вагону на мягких рессорах.

Но вскоре необычайные события всколыхнули Сары-Булак.

И первым из этих событий была грандиозная ссора между Семеном Семеновичем и начальником.

Огород дал прекрасный урожай. Семен Семенович тор-

жествовал, изредка приглашал в гости начальника и угощал редиской, огурцами, помидорами и прочими овощами, которые в этих пустынных местах почитались за большое лакомство.

Для уязвления фельдшера Семен Семенович устраивал пиршества на террасе, чтоб видно было из окон амбулатории. Фельдшер долго притворялся, что ничего не замечает, потом не выдержал и повесил на окно плотную занавеску.

И Семену Семеновичу с тех пор огурцы казались не такими уж вкусными.

Как-то раз утром вышел он в огород, пытливым хозяйским оком осмотрел грядки, заметил принавший куст помидора, поправил его и подпер еще палочкой. Потом выпрямился и встал над грядками в обычной позе, широко расставив ноги и заложив руки за спину. Настроение у него было самое благодушное: беззлобно раздавил он медведку, посягавшую на целость капустных листьев, вырвал несколько сорняков, ухитрившихся прокрасться на грядки, и пошел в другой конец огорода, к моркови, которой рассчитывал заправить сегодня суп.

Грядка моркови поразила его своим разрушенным видом: края осыпались под чьими-то грубыми сапогами, зелень была поломана и притоптана. Видно было, что вор очень торопился, хватал, что под руку попадалось, и вырвал десяток совсем молодых морковок, которым следовало расти еще не меньше недели.

Семен Семенович ощутил острую резь в сердце, но справился с волнением и деятельно принялся за ремонт грядки.

Вечером он устроился ночевать в огороде, утром встал измученный и опухший: заели комары. На следующую ночь он попробовал намазаться керосином, но комары с еще большей яростью падали на него. В полночь убежал он в комнату, закрыл окна и забылся в тяжелом душном бреду, а утром снова обнаружил на грядках преступные следы. На этот раз вор действовал много хладнокровнее и выдирал морковку с разбором, причем выдразил заодно и три пучка зеленого лука.

Тщательно изучив следы, Семен Семенович установил, что подметки сапог похитителя подбиты гвоздями со шляпками. Первоначальное подозрение на фельдшера таким образом отпадало, — фельдшер носил мягкие восточные пичги без всяких гвоздей. Мальчишки, по всем признакам, тоже

были неповинны в хищениях: с весны и до поздней осени они бегали босиком; предполагать же со стороны какого-нибудь Петьки чрезвычайную предусмотрительность, поудивившую его пользоваться, в целях сокрытия следов, чужими сапогами, было очевидной нелепостью.

После длительного наблюдения за обувью сары-булакских обитателей Семен Семенович установил, что подбитые гвоздями со шлямками сапоги имелись только у Петра Евграфовича. Этот факт глубоко поразил Семена Семеновича: не мог же он всерьез подозревать начальника, который был, во-первых, стар для ночных походов, во-вторых, слишком благоразумен, чтоб так легкомысленно рисковать своим общественным положением и безупречной репутацией.

Две ночи подряд Семен Семенович тщетно караулил у открытого окна, борясь с комарами и дремотой; на третью ночь не выдержал—заснул и утром снова обнаружил преступные следы. Мрачный пошел он на дежурство; на лицах всех встречавшихся сары-булакцев искал он признаков дегенерации, каковая, по глубокому его убеждению, была неизбежно присуща бесстыдному похитителю.

Мучения продолжались четыре дня, до тех пор, пока Семен Семенович не наткнулся печально на главу «о душевных болезнях» в «Гомеопатическом домашнем лечебнике».

Сколько бед и волнений было бы предотвращено, если бы не попался ему в такой неподходящий момент этот несчастный лечебник!

О kleптомании в лечебнике говорилось так:

«...Одержимые этой ужасной болезнью люди проявляют необычайную изобретательность, ловкость и настойчивость в хищениях. Обычно они сознают позорность своих поступков, но не имеют сил удержаться и все способности направляют на сокрытие от глаз окружающих своего недуга. При этом kleптоманы получают тем большее удовлетворение от хищения, чем в более трудных и невыгодных условиях оно произведено.

Подозревая кого-нибудь в этой болезни, надлежит действовать без гнева, с мягкостью и осторожностью. Сначала нужно убедить больного в бесполезности заперательства, что удобнее всего сделать, предъявив ему какую-либо вещественную улику.

Затем следует убедить больного обратиться к помощи психиатра, предупредив, что в противном случае он может

подвергнуться многим неприятностям и даже увечьям, попавшись где-нибудь в руки невежественной толпы.

При умелом лечении эта болезнь обычно бесследно исчезает, и только воспоминание о ней доставляет излечившемуся моральные страдания...»

Семен Семенович два раза внимательно прочел главу о kleптомании, и подозрение на Петра Евграфовича вновь возникло в его мозгу. Он решил, что в данном конкретном случае вполне возможно предположить kleптоманию, почему и следует более внимательно изучить психическое состояние начальника, единственного в Сары-Булаке обладателя сапог, подбитых гвоздями.

Некоторые данные в отношении начальника уже имелись: год тому назад он занял у Семена Семеновича два рубля и не возвратил до сих пор. Он мог, конечно, и просто забыть о них, а мог и злонамеренно присвоить. Кроме того, закуривая, он всегда забирал чужие спички в свой карман; эту особенность знали все сары-булакцы, поэтому не давали ему коробки в руки, а протягивали зажженную спичку.

Вторжение на огород совершилось еще раз вечером, причем похититель с дьявольской ловкостью использовал чрезвычайно короткий промежуток времени, пока Семен Семенович ходил с ведром за водой. Как раз в тот момент, когда он подходил к колонке, начальник быстро ушел с платформы в свою комнату. Он мог вылезти в окно, бегом домчаться до огорода, похитить и тем же порядком вернуться обратно. Во всяком случае его торопливый уход, не вызванный никакими внешними обстоятельствами, был весьма подозрительным.

Осматривая произведенные похитителем разрушения, Семен Семенович ясно ощутил, что интерес и жалость к несчастному kleптоману сменяются в его душе яростным негодованием. Он тотчас же направился к начальнику, надеясь захватить его врасплох, жадно пожирающим преступно добытые овощи.

Начальник пил чай и держался очень непринужденно. Семен Семенович согласился выпить стаканчик и уселся в кресло, осматривая исподтишка комнату, в надежде заметить где-нибудь листик или кожурку. Пол был совершенно чистым; начальник только что подмел его мокрым веником, и доски еще хранили следы сырости. Эта чистота еще больше

усилила подозрения Семена Семеновича: он допил свой стакан и спросил в упор:

— Петр Евграфович, вы о kleптомании слышали?

— О kleптомании?—переспросил начальник.

Взгляд его был прямым и ясным. Семен Семенович раздельно повторил:

— Да, о kleп-то-мании. Так называется душевная болезнь. Который больной чувствует неудержимую склонность к хищениям.

— Воровство то есть,—вздыхнув, ответил начальник.— Какая уж это душевная болезнь! Воруют, подлецы, знают, что ничего им за это не будет. А как поймают—прикидываются. У меня-де болезнь душевная. Испортились людишки...

И начальник рассказал длинную и возмутительную с его точки зрения историю об одном убийце, который был признан сумасшедшим, почему и не понес должной кары, в то время как означенный убийца, по мнению начальника, знавшего его лично, был просто ловким симулянтom и обманул не в меру жалостливый суд.

«Аллегория погибает»,—подумал Семен Семенович, памятуя, что kleптоманы испытывают гнусное удовольствие не только в момент хищения, но и во время притворно-сочувственных разговоров со своими жертвами.

— Ко мне в огород вор повадился,—перебил он начальника, глядя ему прямо в лицо.— Взрослый. Сапоги у него подбиты гвоздями со шляпками. Думаю, что kleптоман, то есть душевнобольной.

— Бросьте вы, Семен Семенович,—ответил начальник, махнув рукой.— Мальчишки, подлецы, к вам лезят. Поймать да высечь. Дурь-то и сойдет. У меня вот, подлецы, целую связку пломб сперли на грузила. И с вагонов режут, а потом неприятности—почему вагоны без пломб...

И вот однажды утром, после очередного набега на огород, Семен Семенович увидел на крыльце начальнической квартиры маленький кусочек земли с явственным отпечатком гвоздя, снабженного шляпкой.

Семен Семенович даже присел и прижал руку к взбесившемуся сердцу. Потом бережно подобрал землю и понес на распластанной ладони в телеграфную. Там он спрятал землю в ящик стола и выпил стакан воды, чтобы привести себя в рав-

повесне, необходимое для решительного разговора с начальником.

Яростное негодование, вскипевшее в его груди при виде куска земли со своего огорода (другой земли на полгустанке не было—только песок), постепенно сменялось робостью и неловкостью. Он горько пожалел о своей ссоре с фельдшером, который мог бы принять на себя щекотливое объяснение с Петром Евграфовичем, тем более, что это прямо входило в круг его медицинских обязанностей.

За окном послышались шаги и затем громкое сморкание начальника. Семен Семенович вздрогнул и мучительно ощутил, что сейчас произойдет ужасное и непоправимое, а он бессилён предотвратить это и, если бы даже не хотел, все-таки будет говорить с начальником о его болезни.

Петр Евграфович был настроен бодро и благодушно, как всегда. Пришел он в телеграфную в подптанниках и туфлях на босу ногу; седые волосы на выпуклом его животе были еще мокрыми; он затягивался чудовищной папирсой, толщиной в палец, и укоризненно басил:

— Благодать-то какая, Семен Семенович, под краном выкупаться. Напрасно вы боитесь холодной воды! Лучшее средство от всяких болезней и нервов. Вы что-то заскучили последнее время. У меня вот никаких душевных смут не бывает.

«Заигрывает, чорт!»—подумал Семен Семенович, завел разговор о том, о чем и как бы между прочим спросил:

— А вы, наверное, рано встаете, Петр Евграфович?

— Вы же знаете!—удивился начальник.—В семь часов регулярно. Всю жизнь так встаю.

— Это во второй раз,—немеющими губами пролепетал Семен Семенович.—А в первый?

Начальник нахмурился и внушительно ответил:

— Ерунду вы говорите! Кто ж встает по два раза? Я встаю один раз, в семь часов. С чего вы взяли, что я встаю два раза? Глупость какая!

Дыхание Семена Семеновича участилось, глаза заволкло слезой,—не было ни яростного негодования, ни жалости к несчастному клейтоману,—оставалось только мучительное сознание нелепости этого разговора. Но язык точно начал жить самостоятельно и, не внимая отчаянной сигнализации рассудка, молот и молот, вовлекая своего обладателя в пучину всяческих бед.

— Я так,—бормотал Семен Семенович, меняясь в лице.—Я только к примеру... Бывает, что и по два раза встают... например, которые клептоманы. Встают и воруют, вернее—похищают... Морковь тоже могут или капусту... Пока спишь, а он, больной, сопрет кочня три.

— Вы в бреду, что ли?—отрывисто вскричал начальник.—Дались вам эти клептоманы! Мальчишки воруют. Надо поймать и высечь!

И в этот момент Семена Семеновича вдруг осенили холодная уверенность и спокойствие. Неспеша вынул он из ящика кусочек земли и сказал звенящим голосом:

— Петр Евграфович, вам нужно лечиться! Подметки ваши подбиты гвоздями со шляпками! Этот кусок земли недобрал я на вашем крыльце. Вы забираетесь по ночам в мой огород и похищаете овощи. Вы—клептоман, то есть душевнобольной похититель!

Начальник дико выпучил глаза и долго молчал, постепенно багровея и надуваясь. Колени Семена Семеновича начали трястись мелкой дрожью...

Проходивший мимо телеграфной фельдшер услышал сначала слабый стон Семена Семеновича, перекрытый затем грохочущими раскатами, начальникова баса. Шум стремительно нарастал, бас гремел все яростнее, а потом все покрыл какой-то ужасный грохот, словно рухнул на гулкий дощатый пол огромный, тяжелый платяной шкаф.

На секунду все стихло. Вдруг дверь с треском распахнулась. Выкрикивая что-то невнятное, из телеграфной выскочил начальник—багровый, взбешенный, встрепанный, покрытый липким потом. Теряя туфли и поддегивая подштанники, он стремительно помчался вдоль платформы, неожиданно вернулся, крикнул в окно телеграфной: «Сам. гнида, клептоман!»—и убежал в свою комнату.

Из телеграфной доносилось тихое, немощное бормотание. Фельдшер заглянул в приоткрытую дверь. Стол был перевернут, бумаги раскиданы. В углу дрожал Семен Семенович; волосы его стояли дыбом, как бы под воздействием электрического тока.

Заметив фельдшера, он крикнул отрывисто, как утопающий: «Клептомания!»—и опять забормотал что-то невнятное, булькая, словно уходя под воду.

Фельдшер вдруг ехидно улыбнулся, подмигнул, протяж-

но свистнул и захлопнул дверь, оставив Семена Семеновича в одиночестве переживать катастрофу.

Рапорта, с которыми обратились по инстанции начальник и Семен Семенович, к сожалению, утеряны, и только по случайно уцелевшим обрывкам можно судить о крайней энергичности этих рапортов.

«...и забирался по ночам в мой огород, и похищал трудовые мои овощи (слово «трудовые» два раза подчеркнуто. (Прим. автора.), так как является клептоманом, то есть душевнобольным похитителем, и кроме того вырвал бороду...»

Так писал Семен Семенович.

Стиль Петра Евграфовича отличался меньшей выразительностью.

«...и оскорбил при исполнении служебных обязанностей обозвав клептоманом, и пытался ударить казенным шкапом, для каковой цели оный шкап повалил и сломал, чем нанес материальный ущерб дороге...»

Недавние друзья, так неожиданно превратившиеся в смертельных врагов, одновременно вышли к пассажирскому поезду, случайно задержавшемуся в этот день в Сары-Булаке.

Враги подошли к почтовому вагону. Опуская в ящик конверт, начальник нарочно оттопырил локоть, чтобы Семен Семенович увидел адрес: «Москва. Наркому путей сообщения».

Семен Семенович действительно увидел адрес, но не побледнел и не затрясся, как ожидал начальник. Семен Семенович презрительно улыбнулся и вдруг выхватил из кармана свой конверт. И в глаза начальнику ударил короткий, как выстрел, адрес:

«Москва. ГПУ.»

Однако ни НКПС, ни ГПУ не выслали в Сары-Булак своих представителей. Тогда враги обратились в ближайшие инстанции, и оттуда явилась целая комиссия, возглавляемая ревизором службы движения.

Семен Семенович предъявил комиссии в качестве материалов «Домашний гомеопатический лечебник» и кусочек высохшей земли с отпечатком гвоздя. Начальник категорически отрицал какое бы то ни было—прямое или косвенное—участие в хищениях с огорода. Доказательства Семена Семеновича были признаны неосновательными. Начальник этим не удовлетворился и для окончательной реабилитации потребовал психиатрического испытания. Комиссия коопти-

ровала в свой состав в качестве эксперта фельдшера Бегичева.

Испытание происходило в телеграфной утром 20 августа. Фельдшер предварительно составил подробный план действий и в соответствии с ним усадил начальника на стул, приказав не мигать и дышать как можно ровнее. Потом он долго и скучно расспрашивал его о всякой ерунде и вдруг вскричал отрывисто:

— Число!

— Какое число?—удивился начальник.

Глаза его от напряжения побелели и заволоклись мутной слезой.

— Число и месяц!—повторил фельдшер.—Так нельзя вести испытание, Петр Евграфович! То вы моргаете, то вопросы переспрашиваете. Надо отвечать сразу.

— Двадцатое августа!—отрубил начальник, пуча глаза и еле удерживаясь, чтоб не мигнуть.

Фельдшер забрасывал его нарочито нелепыми вопросами; начальник отвечал без задержки, причем много врал, уверенный, что изловить его в этой словесной сумятице невозможно. Комиссия наблюдала в безмолвии, и только ревизор службы движения, всегда экзаменовавший железнодорожных чинов, задавал по привычке вопросы о правилах сигнализации и составления накладных.

Установив твердость и ясность начальниковой памяти, фельдшер перешел к испытаниям нервной системы,—внезапно плеснул испытуемому в лицо холодной водой и потом сосчитал пульс. Начальник смиренно сидел, не осмеливаясь даже попросить полотенце. Фельдшер заставлял его считать от ста до единицы обратным счетом, стоять на одной ноге, и, наконец, объявил, что никаких признаков душевного расстройства он в начальнике не обнаружил. Но тут ворвался в телеграфную Семен Семенович и заявил эксперту отвод. Он показал, что фельдшер имеет с ним личные счёты и кроме того обладает бесстыдным характером, почему без всякого зазрения совести может удостоверить здоровье заведомо больного человека, лишь бы досадить своим недругам. Фельдшер не стерпел и обозвал Семена Семеновича «воло-сатым гулькой», начальник с пеной у рта требовал удовлетворения, склока заварилась, вновь члены комиссии убежали из телеграфной.

Полустанок, затаив дыхание, следил за событиями. Уже

находились серьезные сторонники точки зрения Семена Семеновича, утверждавшие, что они давно обратили внимание на странное поведение начальника—нормальный человек не будет дрессировать мышей и гулять по утрам вдоль платформы в одних подштанишках да еще в сопровождении кота. Эти доводы мгновенно опровергались противоположной партией, видевшей во всем этом лишь корыстные происки Семена Семеновича, стремящегося запрячь начальника в желтый дом и занять его должность.

Комиссия официально признала себя бессильной разобратся в столь сложном детективном клубке.

Учитывая нужду республики в квалифицированных железнодорожниках, комиссия обратилась к Семену Семеновичу и начальнику с призывом предать забвению историю с овощами и попрежнему работать в Сары-Булаке.

К этому времени и начальник и Семен Семенович остыли и согласились на предложение комиссии.

Но от былой их дружбы не осталось и следа. Они не разговаривали даже при исполнении служебных обязанностей; в свободное время скучали поодиночке, тосковали о прежних веселых днях, но все-таки не шли друг к другу, не имея сил перебороть гордыню.

На этом, однако, не кончилась история с огородом.

В одно ясное сентябрьское утро Семен Семенович снова обнаружил в огороде следы воров. На этот раз действовала целая шайка босоногих мальчишек.

Горький опыт отучил Семена Семеновича взывать в таких случаях к сознанию самого преступника, и он решил действовать иначе.

Скоро весь полустанок узнал, что он приобрел у проезжего киргиза огромную собаку, настолько злую, что днем приходится запирает ее в комнате и выпускать только ночью на длинной цепи.

По вечерам сары-булакцы слышали вой этой страшной собаки, вой жуткий, неровный, с хрипотцой и надрывом. Подходявшие к забору поближе слышали и лязганье цепи. Мальчишки, понятно, испугались и перестали лазить в огород.

Как-то раз занедужилось путевому мастеру Родионову, и он вызвал фельдшера к себе на дом. Фельдшер засиделся и возвращался поздно, в одиннадцатом часу. Сняли звезды,

РД  $\frac{0}{4939}$

дул легкий ветер, светила ущербленная луна и глянцем отражалась на покрытом охрой заборе.

Завыла собака. Ее вой поразил фельдшера ненатуральностью. Бесшумно ухватившись за верхушку забора, фельдшер подтянулся и заглянул в огород. Изумленному его взору представилась необычайная картина: сам владелец огорода, Семен Семенович, стоял между грядок капусты и выл, задрав к небу свой волосатый облик. Время от времени он потряхивал нанизанными на палочку железными кольцами, которые издавали звук, подобный лязганью цепи.

Умолкнув, Семен Семенович направился домой, поднял случайно голову и обомлел, увидев лунное сияние на фельдшерской лысине. Изумленные в равной степени, они долго молча смотрели друг на друга; наконец, фельдшер зловеще произнес: «Вот как!»—и, скользнув вниз, исчез подобно призраку.

Весь следующий день фельдшер посвятил сплетням, причем не мог удержаться, чтоб не приврать: по его словам, Семен Семенович во время вытья становился даже на четвереньки.

Семен Семенович нагло отпирался и говорил, что выла самая настоящая собака, которую сегодня утром он продал в поезд какому-то пассажиру, поскольку огород опустел и надобность в его охранении миновала.

В глубине души Семен Семенович боялся, как бы фельдшер не вздумал объявить его сумасшедшим. Дело, к счастью, ограничилось только сплетнями.

Кто-то из сары-булакцев крупно написал на заборе черной краской:

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ ВОЕТ ПСОМ  
И ВОЛОСАТЫЙ—ТОЧНО СОМ.

Эта надпись, несмотря на явную ее бессмысленность, чрезвычайно оскорбила Семена Семеновича; пообещав набить поэту морду, он часа два трудился, выскребая надпись кухонным ножом. На желтом заборе образовалась белая плешина; охры не оказалось под руками, и Семен Семенович покрасил плешину голубой краской.

А проезжавшие мимо пассажиры, незнакомые с подробностями сары-булакского быта, наивно дивились страшной прихоти маляра, посадившего на желтый забор голубое пятно.

В сентябре Васька Фомин уехал заканчивать учение в путейском техникуме.

Перед отъездом он целую ночь провел в телеграфной, возле Насти Бобровой.

Семен Семенович случайно остановился около открытого окна и подслушал их разговор.

В телеграфной было уютно и чисто. Тихо урчала лампа «молния» под большим зеленым абажуром, тикали ходики, и нудно зудел аппарат Морзе. Его звук был таким однообразным, что, подобно пению сверчка, даже не замечался и уж, конечно, ничуть не мешал беседе.

— Ну вот, я и уезжаю, Настя,—вздыхнув, сказал Васька и снял фуражку. Черная прядь упала на его смуглый лоб. Он добавил:—Боюсь, что будет мне скучно.

— Тебе скучно?—удивилась Настя.—А мне-то как? Мне-то как, Вася! Ведь в Сары-Булаке жить—как в гробу!..

Она в упор смотрела на Ваську большими серыми глазами. В распутившихся ее волосах дрожал зеленоватый отсвет абажура.

— Ты к людям едешь, Вася, учиться. А у нас и книг даже нет. И просвета не видно...

— Я книг пришлю,—пообещал Васька.

Черный его глаз сверкал как уголь из-за полуопущенного века. Он сжал в широкой своей ладони теплую Настину руку и сделал вид, что забыл об этом. Потом внезапно спросил:

— А что думаешь ты обо мне?

— О тебе?—растерялась она и покраснела.

Он настойчиво повторял:

— Что ты обо мне думаешь? Только без утайки...

— Я о многом думаю, Вася... И о тебе, конечно... Странный ты. И комсомолец, и будто не комсомолец...

— Это почему ж не комсомолец?—обиделся Васька.— Что ж, я—контрреволюционер, что ли?..

— Я не о том, Вася. Я совсем не о том... Ты посмотри. Вася,—кругом люди-то какие большие стали. Читаешь газету, и душа рвется. Люди большие у нас выросли. Это, Вася, от дела. Когда у человека большое дело, он сам большим становится. Широким!

— Как лещ!—нескрепне усмехнулся Васька.

Настя продолжила, не слушая его:

— Читаешь газету, и дрожь берет от обиды. Сидим мы тут, как сурки в норе. Маленькие все мыздесь, Вася, жалкие...

Она помолчала и, сразу решившись, добавила, не глядя на Ваську:

— Вот теперь скажу и о тебе. Товарищи твои отпуск в аулах провели, в колхозах, на работе. О твоих товарищах в газете написали и портреты напечатали. А твоего портрета... там нет, Вася...

— Всех не напечатаеть—бумаги не хватит,—хмуро буркнул Васька и, приняв безразличный вид, замурлыкал свою любимую ямщицкую песню.

— На кого нужно, хватает,—возразила Настя.—А ты, Вася, что сделал за отпуск? Морковь воровал у Семена Семеновича в огороде да меня этой морковкой кормил! Нет уж, Вася, ты меня выслушай! Все время собиралась тебе сказать, да не смела... Чем ты, Вася, занимался? Глупые стихи писал на заборах... да целовался еще... За такие дела в газетах не печатают.

Семен Семенович был совершенно ошеломлен. Так, значит, вот кто виновник всех бед и несчастий?! В первую минуту Семен Семенович хотел ворваться в телеграфную, с места в карьер учинить огромный скандал и разоблачить Ваську. Потом раздумал, охваченный другим, более сложным и глубоким чувством.

Настя крикнула:

— Вася! Ты ведь умный и ученый, Вася! Ну, как ты не понимаешь: ведь мы не ждем, а гнием!

Тихо урчала лампа «молния» под большим зеленым абажуром, монотонно зудел аппарат Морзе — единственный выход из Сары-Булака в мир. Чуть колыхалась от ночного ветра плетеная пестрая занавеска.

Семен Семенович глянул в степь. Где-то далеко-далеко в песках кричал ночной ястреб. А кругом было все то же: знакомые домишки, до тошноты приевшиеся люди, все мелкие, незаметные, серые люди... коты, огород и прочая ерунда, а дальше—голая и широкая, как небо, степь. И больших дел не было ни в Сары-Булаке, ни вокруг него. Семен Семенович ощутил прилив цемящей тоски и обиды на то, что и он—такой же мелкий, серый и незаметный, как все остальные сары-булакцы. Он и раньше испытывал нечто подобное, но никогда еще это чувство не овладевало им с такой полнотой и силой.

Послышался Васькин голос:

— Я не Винтер, чтоб Днепрострой сооружать.

Г — Не надо быть Винтером, — ответила Настя. — Только захотеть, Вася, надо, а дела у нас много. Людей даже не хватает, — вот сколько дела! Только надо от нашей жизни отказаться — от проклятой утробной, и сразу большое дело найдешь. И дышать тебе, Вася, легко будет...

— Я, Настенька, тебя очень крепко люблю, — тихо сказал Васька. — Замуж пойдешь за меня?

— Пойду, — ответила она, не задумываясь. — Мы с тобой, Вася, найдем дело. Ты сам подумай, Вася: ты — умный и ученый. Ты за большое дело берись. Ну как же иначе? Как я иначе людям в глаза посмотрю? Мне стыдно будет, Вася, даром, что я не ученая.

Она заплакала. Мокрые ее ресницы были необыкновенно трогательными. Васька обнял ее и принялся утешать, обещая взяться за настоящее дело и всем доказать, что ни в учености, ни в силе характера он никому не уступит. Он обещал Насте подробно писать из техникума о своем продвижении на пути больших дел. В конце концов уговорились они, по окончании Васькой курса, быстро и без шума покинуть и двинуться куда-нибудь на большое строительство, в самую гущу жизни, подальше от Сары-Булака. Они расстелили на столе карту действующих и запроектированных путей сообщения и начали спорить о месте будущей работы.

Семен Семенович тихо отошел от окна.

Из пустыни порывами бил сухой, резкий ветер. В лохматые разрывы туч проглядывала временами луна; от мягкого ее света голубели и рельсы, и песок, и стены домов.

Семен Семенович вдруг остановился на голом месте и сказал в пустое пространство:

— Тускло живем. Как в землянке.

Помолчав, он повторил раздраженно, словно кого-то оспаривая:

— Как в землянке!

Чувство щемящей тоски не исчезло, даже усилилось. Он пытался осознать смутное это чувство и выразить словами; ему казалось, что, как только найдет он нужные слова, все прояснится и навсегда исчезнет это противное щемящее чувство. Но слов найти не мог — и так стоял на голом месте, подставив неровному ветру пышную бороду.

— Поглупел! — сердито сказал он вслух. — Сам себя понять не могу. Живем мы тускло.

И пошел дальше, давя грубыми сапогами хрусткий песок, раздумывая о настином томлении по большим делам и о своей душевной смуте.

...В семь часов утра он пошел на дежурство. От бессонницы туго ныли виски. В раскрытое окно виден был стол, разостланная на нем карта, и на карте—сонные головы Настя и будущего ее мужа. Семен Семенович не ощутил неприязни к Ваське; общность мыслей и чувств, которыми болели Настя, Васька и он сам, казалась гораздо значительнее этой неприязни.

Он подошел на цыпочках к столу, потушил лампу, тихонько растолкал Ваську и выгнал из телеграфной.

— До каких пор вместе сидите!—сердито шептал он.— Вам ничего, конечно, а ей, девушке, честь нужна. Сплетни пойдут. Не знаете разве языков наших?

На платформе он сказал Ваське:

— Я знаю, что это вы ко мне в огород лазили, а я на Петра Евграфовича грешил.

Васька с жаром доказывал свою невиновность.

Семен Семенович остановил его.

— Я знаю. Ну, дело прошлое. Я на вас не в обиде. Но как же это кусочек земли к Петру Евграфовичу на крыльцо попал?.. Да еще с отпечатком гвоздя?.. Может быть, вы оба... того...

Васька, потупившись, ответил:

— Я по вечерам отцовы сапоги обувал,—фаланг я боюсь. А отцовы-то сапоги с гвоздями. На крыльчке у Петра Евграфовича мы с Настей сидели часто. Ну, и упал кусочек земли...

Спровадив Ваську домой, Семен Семенович подошел к окну и начал громко кашлять и сморкаться. Около дверей он долго возился, шаркая сапогами, и переставлял с места на место громыхавшее ведро. Потом он вошел в телеграфную. Настя сидела уже причесанная, карта была аккуратно сложена, лампа стояла на подоконнике. Семен Семенович сказал, глядя в угол:

— С добрым утром, Настенька. Делаш не было? Где книга дежурств,—я расписушь.

Недели через две после Васькиного отъезда небо заволкло тучами, подул холодный ветер, пала изморозь, и тусклая сары-булакская зима неспеша тронулась в далекий путь к весне.

Семен Семенович сменил свою брезентовую куртку на ватный пиджак, начальник перестал ходить по утрам к колонке и умывался дома, утираясь за отсутствием солнца и теплого ветерка жестким холщевым полотенцем.

Новой эта зима была только для Насти. Она ежедневно выходила к почтовому и стояла возле начальника до тех пор, пока мешок с газетами и корреспонденцией не был разобран до конца. И редко уходила она без письма. Васька оказался чрезвычайно усердным корреспондентом, причем все больше и больше совершенствовался в написании буквы «л», которая, к сожалению, встречалась в его письмах в самых разнообразных сочетаниях, за исключением одного: «большие дела». Читая письма, Настя и радовалась, и огорчалась, и в ответах не уставала напоминать о последнем разговоре в телеграфной.

Ее напоминания, очевидно, возымели действие: однажды из конверта вместе с письмом выпала газетная вырезка. Недоумевая, Настя развернула ее и даже перестала дышать от удивления: с полоски серой и шершавой газетной бумаги на нее смотрела улыбающаяся Васькина физиономия. Заметка сообщала, что студент 4-го курса путейского техникума Василий Фомин организовал бригаду и поехал на ликвидацию размыва 93-го километра, причем благодаря его распорядительности и энтузиазму бригада размыв был ликвидирован в рекордно короткий срок.

Письмо было составлено в обычном стиле, с многочисленными «л», и только в конце Васька говорил с горделивой скромностью, что хвалиться не любит, потому и пишет о делах очень редко, но всегда и везде помнит последний разговор в телеграфной, чему доказательством служит газетная вырезка.

Настя поздравила Васькиного отца. Он удивился. Оказалось, что беспечный сын не счел нужным порадовать его вестью о своей победе. Настя привела старика к себе и прочла часть письма. Старик от гордости надулся, забрал газетную вырезку и повесил дома, рядом с портретом Буденного.

А Настя написала Василию сердитое письмо, в котором доказывала, что недостойно комсомольца забывать стариков-родителей.

Мирная сары-булакская жизнь была взорвана одним из бесчисленных московских заседаний.

На Варварке, в здании бывшего Делового двора, где

помещается ныне Наркомтяжпром, некий академик, весьма благообразный старичок, докладывал о серных месторождениях в пустыне и демонстрировал карту, где были указаны границы этих месторождений.

Сары-Булак очутился внутри границ.

Старичок представил цифры, из которых явствовало, что себестоимость килограмма серы будет чрезвычайно низкой и все капитальные затраты окупятся в три года.

Заседание решило немедленно приступить к эксплуатации месторождений. Завод должен был строиться в песках, на берегу большой реки, в ста километрах от Сары-Булака. Тут же был намечен срок пуска будущего завода: 1 декабря 1930 года.

Заседание происходило в десятом часу вечера, и, если принять поправку на пояса, можно с уверенностью сказать, что сары-булакцы спали в это время мирным сном, с головой укутавшись в теплые стеганые одеяла. И только Настя Боброва не спала, тоскуя о Ваське и о больших делах. В пустыне рвал ветер, крутил песок на барханах, колотился о негулку медь станционного колокола и свирепо гнул мертвые желтые стебли помидоров на огороде Семена Семеновича.

Революция началась остановкой скорого. Это была первая остановка скорого за последние два года. Полустанок всполошился. Все—от стариков до младенцев—выстроились на платформе и в безмолвии созерцали блестящий состав. Из международного вагона вышел старичок-академик в сопровождении целой свиты экономистов, геологов и химиков. Из багажного выгрузили десятка полтора разных ящиков. Часа через два товарный привез автомобили, и гости уехали куда-то—в самое сердце пустыни.

Сары-булакцы бросились к начальнику, сообразив, что он, разговаривая по долгу службы с гостями, наверное узнал все подробно. Начальник многозначительно ответил:

— Не могу болтать. Скоро узнаете сами,—точно бы дал слово свято хранить поведенную ему тайну, хотя гости все не требовали от него такого обещания.

Семен Семенович нескрэнно махнул рукой, дабы показать пренебрежение к начальниковой тайне. Испуганный фельдшер (он, кстати, всегда и всего пугался) помолчился на ночь. Настя написала Василию письмо на шести страницах.

Через три дня все стало ясным. В газете появилось сообщение о новом строительстве. На маленькой карте был крупными буквами обозначен Сары-Булак, как пункт, от которого к серпному заводу пойдет железнодорожная ветка. Настя решила сообщить об этом Ваське, но он опередил ее и прислал письмо, в котором почти отсутствовала буква «л», зато в необычайном изобилии пестрели вопросительные знаки: «Когда начнут строить? Кто начальник строительства? Нужна ли путевка техникуму?» «Вася, милый, тебе легче все это узнать»,—ответила Настя и хотела ограничиться этой короткой фразой, но забылась и добавила еще одиннадцать с половиной страниц...

Завод снабжался стройматериалами с двух сторон. Часть грузов сплавлялась вниз по реке, на баржах и баркасах, а другая часть доставлялась по железной дороге в Сары-Булак и дальше следовала на автомобилях.

Сары-булакский грузооборот, представлявший собой до сих пор величину скорее отрицательную, сразу фантастически вырос. Потребовались новые запасные пути, тупики, пакгаузы, навесы, склады, гараж для автомобильной колонны, бараки для рабочих, водонапорная башня и много других подсобных сооружений.

Сары-булакцы, ошеломленные внезапно рухнувшей на них лавиной событий, притихли, растерялись и вяло бродили меж бревен, досок, кирпичей и бочек с цементом, несмело переругиваясь с пришельцами. Но уже недели через две некоторые пообвыклись и начали весьма бойко торговать чаем, пирогами с требухой и рассыпной махоркой. Алчный фельдшер вывесил большое объявление: «Сары-булакская амбулатория. Прием с 8 утра до 11 вечера. Железнодорожники бесплатно с 8 до 2, остальные за умеренную плату с 2 до 11».

— Даже на обед часа не оставил, жадюга!—сказал Семен Семенович.

Прочитав объявление, он решил было заняться устройством теплицы, дабы иметь доход с огорода и зимой, но на следующий же день махнул рукой на свою затею.

Он чувствовал себя лишним в мире, и часы безделья между дежурствами были мучительны. Он наблюдал со своего крыльца беготню, суету, слышал ругань, крики, гудки паровозов, лязг буферов; все эти звуки, раньше оставлявшие его

в совершенном равнодушии и как бы не доходившие до его слуха, теперь вызвали знакомое ощущение смутной тревоги и неудовлетворенности.

Он стал мрачным, необщительным и целые дни проводил в молчаливом одиночестве, бесцельно блуждая в песках или сидя на берегу, близ парома.

Чтоб заполнить хоть чем-нибудь свободное время, он занялся ужением рыбы. Иногда удавалось наловить порядочно; тогда он собственноручно жарил рыбу и продавал приезжим. Платили хорошо, и он сам не знал, что мешает ему поставить дело на широкую ногу. Больших затрат это не требовало, стоило только сделать десяток хороших подпусков, и он уже принялся плести их из тонкого английского шпагата, но бросил, не закончив.

Рыбная ловля постепенно утрачивала в его глазах всякий интерес. Однажды ночью он сидел на пароме и тихо переговаривался с плешивым сторожем, постоянным товарищем по рыбной ловле.

Ночь была теплая, кричали лягушки, причмокивали, выходя на поверхность, сазаны. Струя раздвигалась, обтекаемая паром; под самыми удилищами Семена Семеновича то и дело вспыхивал лунный свет.

— Клюет, — шопотом сказал сторож.

Семен Семенович пригнулся к удилищу, но поклевка не повторилась.

— Балуется, — вздохнул сторож, закручивая цыгарку. — Какая уж это рыба! Дернет два раза — и все... мелочь! Настоящая рыба из наших мест ушла.

— Чего же ей здесь делать? — ответил Семен Семенович. — Пускают с завода разную гадость в реку, — вот рыба и ушла.

— Она гадости не любит, — подтвердил сторож. — Самое горе в том, что завод выше нас по реке. Чтобы пониже его поставить! И ловили бы мы с тобой, Семен Семенович, настоящую рыбу...

Со станции доносились гудки маневрового паровоза; он просил седьмой путь. Ему отвечал сильный рожок стрелочника.

Сторож закурил, загораживая спичку от ветра ладонью.

— Да... Жизнь-то совсем другим боком обернулась. Настю дежурным назначили. Ваське, говорят, доверили ветку строить. Техникум еще не кончил, а уже — доверяют.

Семен Семенович мрачно молчал. Сторож тихонько подтолкнул его локтем.

— Начальник Петр Евграфович, даром что сумасшедший, по трем ведомостям жалованье охватывает. Как начальник—раз, за совмещение с телеграфом—два, за особое назначение—три. Куда только деньги деваает?

— Ключет!—шепнул Семен Семенович.

Сторож рванул удилище. Леса с тонким визгом рассекла воду.

— Эх, черт!.. Зацепил. Придется лезть,—огорченно сказал сторож, расстегивая штаны.

Зябко пошевеливая лопатками, он слез в воду. От него побежал кругами раздробленный лунный свет.

— Да, вот как люди-то живут,—говорил он, отыскивая предательскую корягу.—А мы с тобой, Семен Семенович, рыбку ловим.

— А что сделаешь!—закричал с надрывом Семен Семенович.—Что ты сделаешь на такой службе! Вот и сижу в телеграфной! Двадцать лет просидел... всю жизнь! Как во сне!

Сторож отцепил крючок, влез на паром и посоветовал:

— А ты проснись. Проснись, милый. Мужчина ты крепкий, видный...

— Я проснусь!—яростно ответил Семен Семенович.—Я проснусь! Плюну на все и в Москву уеду! Или в Сибирь—пушиного зверя бить!

В эту ночь он понял, что неистребимое чувство тревоги и неудовлетворенности, которое так мучило его раньше, не исчезло, и он только обманывает себя, пытаясь о нем не думать. Испуганный этим открытием, он бросился домой и целую ночь трудился, доканчивая подпуска.

Утром он вернулся на берег, закинул их и совершенно отчетливо осознал, что если бы сделал не десять, а сто или даже тысячу подпусков, то все равно не избавился бы от этого гнетущего чувства.

Начальник Петр Евграфович первым почувствовал дыхание большого дела, если не считать, понятно, Насти Бобровой, которая с самого начала сары-булакской революции впала в лирически-восторженный транс и переводила на письма невероятное количество телеграфных бланков.

Начальник получил приказ о повышении жалованья станционному служащим, новую фуражку с красным верхом и «Положение о станциях особого значения». По этому «положению» он объявлялся ответственным за всю работу;

права его расширились вплоть до самостоятельного найма и увольнения. Он вывесил «Положение» в телеграфной и подчеркнул красным карандашом раздел «О правах».

...Всю жизнь начальник служил на маленьких, глухих станциях. В молодости еще мечтал о больших узлах, вроде Ташкента или Красноводска, потом и мечтать перестал.

И вот, на старости лет, когда он уж совсем примирился со своей судьбой, его мечта сбылась, и он вначале не радовался этому. Его пугал и колоссальный грузооборот, и огромные деньги, ежедневно поступающие в кассу, и неполадки с грузами, и бесчисленное количество бланков, которые он ежедневно подписывал.

Да и жаль было прежней безмятежной и тихой жизни: она так подходила к его почтенным годам. И он решил было просить об отставке на пенсию, но пришла в голову мысль, что, должно быть, сильно ценят его в управлении: тогда выслали целую комиссию разбирать конфликт с Семеном Семеновичем, а теперь сочли возможным, даже не справляясь о силах и способностях, поручить такое большое и ответственное дело, как управление станцией особого значения.

Ночь провел он в сомнениях и колебаниях, утром попросил прощения об отставке, вычистил бензином свою форменную тужурку, вышел на платформу и учинил громовой разнос дежурному, перепутавшему вагоны. Услышав грозные раскаты его баса, сары-булакцы поняли, что он взялся за дело всерьез.

Вскоре начальнику прибавили к основному, уже повышенному окладу сорок процентов нагрузки. Прочитав извещение, начальник крикнул и приказал исправить платежную ведомость. В этом месяце он получил вдвое больше, чем раньше, сел на диван и в задумчивости долго перебирал потерянные бумажки. Что за мысли текли в седой его голове, не дано знать никому. Неожиданно он вскочил и с лихорадочной быстротой кинулся проверить накладные. Голодный кот протяжно мяукал. Начальник порывисто замахнулся стулом и крикнул:

— Пшел вон, лодырь, сукин ты сын! Тут без вас, чертей, глаза на лоб лезут!

Изумленный кот шарахнулся под диван и поблескивал оттуда зелеными глазами, не осмеливаясь вылезти. Он был чужд интересам строительства социализма, почему и не мог понять странного поведения своего хозяина, раньше всегда

заботливого и внимательного к его котовым нуждам.

Прошла еще неделя. Кот совсем отошал; шерсть его, некогда искрившаяся под солнцем, висела ошметками. Тщетно по утрам трагически орал он перед заржавевшими мышеловками, — начальник или спал мертвым сном, или носился вдоль платформы, распекая всех встречных и поперечных. Кот понял, что прежняя легкая и развеселая жизнь не вернется больше уже никогда, надо точить собственные когти и лично заниматься мышинным промыслом. Это, кстати, было делом нетрудным: в пищевом пакгаузе мыши гуляли табунами, кот принялся яростно истреблять их и включился таким образом в одну из боковых линий строительства.

Но, понуждаемый голодом к общественно-полезной деятельности, кот внутренне так и остался нетрудовым элементом, пассивным созерцателем: нажавшись, он, как живой сколок безвозвратно сгнувшегося сары-булакского быта, лежал на перилах террасы, озаренный прозрачно-багровым отсветом вечерней зари, шурил зеленые глаза с продолговатыми зрачками и презрительно поглядывал на поезда, на грузы, на автомобильные колонны, на бегающих потных людей и на бывшего своего хозяина, который, высунувшись до пояса из окна телеграфной, надрывным басом кричал что-то бестолковому составителю.

В мае начались работы по строительству железнодорожной ветки.

Василий по окончании курса техникума был откомандирован в Сары-Булак. С первых же дней начались отчаянные сражения с Настей.

— Надо же совесть иметь! — кричал он. — Шпал нет, работа стоит! Давай паровоз!

— Не могу, — спокойно отвечала Настя. — Паровоз занят: составляем порожняк.

— Смейся!

Василий бежал к Петру Евграфовичу, опять возвращался к Насте и громил кулаками стол.

— Я с тобой, Настя, разведусь! Ей-богу разведусь!

Только один раз удалось ему получить паровоз вне очереди. Он подсел к Насте, обнял, усыпил нежными нашептываниями ее бдительность и незаметно подсунул наряд. С тех пор Настя, отказывая ему в паровозе, всегда одевала железнодорожную фуражку в знак того, что при исполнении слу-

жебных обязанностей она считает неуместными всякие семейные разговоры.

В пустыне, на бесплодных от века песках росли сероголубые бетонные корпуса. Монтаж оборудования производился одновременно с постройкой зданий, крыш еще не было, и механизмы приходилось закрывать на ночь брезентом, чтоб не падала на металл роса. Рабочие обедали прямо в цехах. Представители охраны труда силой снимали с работы несовершеннолетних учеников.

15 октября открывалась сессия республиканского ЦИКа. Строители завода решили приурочить пуск к этому дню.

Труднее всего было с доставкой грузов. Баркасам мешало бурное течение реки, мел и подводные камни. Автомобильный путь, усеянный рытвинами и кочками, был еще ужаснее. Шоферы брали в запас по двадцать камер. После каждого рейса автомобили требовали капитальной чистки: мельчайший песок проникал в самые сокровенные части мотора.

Заводские рабочие прислали в Сары-Булак делегацию для заключения договора. Этим договором по существу только закреплялись достижения Сары-Булака, который еще ни разу не задержал заводских грузов. Но Петр Евграфович все-таки долго тосковал перед подписанием договора. а когда на торжественном заседании подписал, выпрямился и размахисто перекрестился:

— С богом, ребята!

И, сразу опомнившись, начал неуклюже изворачиваться, объясняя, что перекрестился в шутку.

Вечером он долго сидел за столом, помешивая ложкой остывший чай. Зеркало отражало его седую голову и красную морщинистую шею. Он сказал, обращаясь к своему отражению:

— Заблудка, Петр Евграфович! Зря на пенсию не ушел.

— Подписал, так не трусь!—ответило отражение.—Надо было раньше думать...

— «Раньше», «раньше»!—рассердился Петр Евграфович и крепко хлестнул ладонью по столу.—А впрочем, работают же люди? Авось, и мы вытянем!—Помолчал и добавил:— А лучше бы уйти мне на пенсию. Стар уж я для этих штук... Осрамиться здесь—плевое дело...

Осенью в газете появилась большая статья о новом серном гиганте.

Петр Евграфович крикнул, увидев в газете свою фамилию, снабженную эпитетом «антузиаст». Эпитет ему, конечно, польстил, но в то же время он еще полнее ощутил тяжесть огромной ответственности.

Семен Семенович тоже прочел статью и заскучал еще больше. Проклятая телеграфная служба не давала ему никакой возможности развернуться вместе с другими во всю ширь. Чувство тоски усиливалось с каждым днем. И Семен Семенович всерьез начал подумывать о коренной перемене жизненного курса и даже разослал всем друзьям и знакомым письма с просьбой посодействовать ему в этом.

23 сентября в Сары-Булак приехал главный механик завода, инженер Креницкий. Он проверил в пакгаузе наличие деталей и разослал во все концы телеграммы, приглашая различных ответственных работников прибыть к 15 октября на завод и принять участие в торжестве пуска.

Потом он отправился искать серебряные гривенники и два метра шелкового муслина. Муслина он не нашел и был этим очень опечален. Настя осторожно справилась, для чего понадобились ему гривенники и муслин. Он с готовностью пояснил, что и то и другое необходимо для пробного пуска двигателя; через муслин процеживается масло, а гривенники устанавливаются ребром на подшипниках: если гривенники во время хода не шелохнутся, значит толчков нет, монтаж был правильным, машину можно пускать в работу.

Объясняя, Креницкий смотрел на Настю жадными глазами. Она, вздохнув, отдала ему свое единственное парадное платье, на которое копила деньги четыре месяца.

Надежды были разрушены неожиданно и жестоко.

Второго октября в Сары-Булак пришла заводская автомобильная колонна и забрала последние детали. Петр Евграфович облегченно вздохнул: наконец-то он получил возможность вплотную заняться изрядно запущенной канцелярией.

Третьего октября утром он вызвал к себе в кабинет Семена Семеновича и молча вручил ему служебную записку:

«Настоящим предлагается вам отчетную ведомость о проходящих телеграммах представить вместо тридцатого числа сего месяца двадцать осьмого числа сего месяца».

Семен Семенович написал поперек листа:

«Не могу».

Начальник нахмурился.

«Почему?»

«Не обязан»,—ответил Семен Семенович, разбрызгивая чернила.

Начальник крикнул, раздраженно придвинул чернильницу и, роняя на бумагу крупные кляксы, написал:

«А я приказываю».

— Не пра...—начал Семен Семенович голосом, но спохватился и закончил свое возражение на бумаге:

«Не правомочны».

Тут начальник не выдержал, забыл о том, что не разговаривает с Семеном Семеновичем, и заорал, топорща седые усы:

— А я приказываю!

— Не правомочны!—рявкнул Семен Семенович, воинственно выпрямляясь.

Возможно, что новая ссора между ними была бы еще грандиознее первой, но в кабинет ворвался бледный сторож. Он бестолково размахивал руками; пот блестел на его розовой плешине.

— Беда, Петр Евграфович! Ей-богу, не вру! Как же теперьча завод пущать! Ей-богу, не вру!

Оказалось, что сторож, убирая пакгауз, натолкнулся на два забытых ящика. Их завалили рогожами во время последней погрузки автомобилей.

Заведующий пакгаузом побледнел, кинулся проверять накладные и с тихим стоном упал на рогожи. В ящиках находились детали двигателя. Пуск завода был сорван.

Станция мгновенно узнала о происшествии. Все сбежалось к пакгаузу. Начальник—строгий, прямой, одетый в полную форму—потребовал у заведующего ответа. Но заведующий от нервного потрясения заболел и только охал, прижимая руку к сердцу. Настя неожиданно заплакала. Васька неуклюже поил ее водой, обливая шею и грудь; она стучала зубами о стакан и кричала без голоса:

— Один раз доверили, и то не могли, и то не могли!

Предпринять можно было только одно: запросить телеграммой с депо станции автомобиль и на нем доставить ящики. И всем было ясно, что это не спасет дела: когда-то еще телеграмму получат, да подумают, да погрузят авто-

мобиль, дня два он пробудет в дороге, и ящики в самом лучшем случае попадут на завод тринадцатого числа.

Начальник хмуро сел за аппарат. Все напряженно следили за подрагиваниями его сухих, узловатых пальцев, точно бы автомобиль мог прибыть по этому же проводу и с такой же скоростью, как депеша.

Вечером Семен Семенович ловил рыбу. Для удобства он забрался на паром и пустил лески по течению.

Странные чувства волновали его сегодня. Он сам не мог понять, доволен он или огорчен тем, что все сары-булакцы оказались на поверку такими же ничемными людьми, как он сам.

— Мне-то какое дело?!—вслух сказал он и пожал плечами.

Перед ним текла река, золотая от закатного солнца. Паром покачивался и лязгал цепью. Разбиваясь о его борта, вода белела и вскипала с глухим рокотом.

Настя лежала с мокрой повязкой на голове.

Душная ночь тяжело навалилась на пустыню. Ветер нес в открытые окна тонкие струйки песку.

Васька, поскрипывая сапогами, ходил из угла в угол. В час ночи он лег.

На рассвете в окошко постучали. Настя тревожно крикнула:

— Кто?

В комнату всунулся волосатый облик Семена Семеновича.

— Василия Ильича разбудите. Идею обсудить.

Семен Семенович был очень взволнован. Даже в темноте Настя заметила блеск его глаз.

— Кой черт!—заворчал, просыпаясь, Васька.

Семен Семенович, сдерживая волнение, пояснил:

— Я чертежики приготовил. Выдумал идею. До утра как раз обсудить успеем.

Василий одобрил проект. Утром Семен Семенович почмчался к начальнику, захлебываясь изложил ему суть проекта и настоял на немедленном созыве заседания. Оно происходило в телеграфной. Сары-булакцы теснились около закрытого окна. Сторож, изнемогая, стонал:

— Отпирай окно! Что заперлся!

Через минуту он забарабанил в стекло пальцами.

— Отпирай. Масса желает!

Начальник, не отрывая взгляда от чертежей, обшаривал оконную раму, нащупывая шпингалет. Сторож прижавшись лицом к стеклу, бормотал невнятной скороговоркой, как в бреду:

— Да выше, Петр Евграфович, выше!..

Наконец окно распахнулось. Начальник торопливо сказал:

— Заседание продолжается.

— Чего там продолжается!—завопил сторож.—Масса не слышала. Давай сначала. Масса требует.

Семен Семенович изложил свой проект. И сразу же возникло препятствие. Существеннейшей частью проекта был трактор. Семен Семенович предлагал взять его из грузевого фтордзонами вагона, случайно застрявшего на станции. Начальник заупрямился: как и все железнодорожники, он был немного помешан на уставах и правилах и не мог решиться на такое дело.

— Это не шуточки!—мрачно посапывая, говорил он.—Целый трактор спереть—это вам не гвоздь. Вагон-то под пломбой, и накладная есть...

Он смотрел на толпу поверх очков, часто мигая, как застигнутый солнцем сыч.

— Я за тридцать лет службы ни в чем замечен не был. Не вам отвечать, а мне...

Возражение было очень веским. Все это понимали, но делали вид, что возражение совершенно несерьезно и даже смешно. Начальник раскусил хитрость и уперся. Семен Семенович решил спор разом:

— Отвечать вам, Петр Евграфович, придется,—сказал он напрямки.—Как же без ответа? Пломбу сорвать, трактор взять—без ответа нельзя.—Передохнул и закончил тихо, но совершенно убежденно:—А другого выхода нет, Петр Евграфович. Так уж вы... пострадайте.

Сторож кубарем подкатился к начальнику:

— Мы постоим!—захлебывался он.—Мы за тебя постоим. Ты не бойся,—спльно засудят, так мы и до Сталина дойдем. Полгодика всего и посидишь, а уж мы тебя за это время отхлопочем. У меня зять в Москве служит в деревянном тресте: большая рука у него. Мы уж отхлопочем. А позор, мыслимо ли, сам посуди, принять!

Сторож нелепо взмахнул руками и крикнул в толпу:

— Проси, ребята! Все проси! Все!

Начальник снял свою красную шапку. Сизый его нос набух кровью. Он спокойно обвел толпу глазами и твердым шагом вышел на платформу. Сары-булакцы в молчании следовали за ним. Он подошел к вагону и без колебаний сорвал пломбу. Пломба мягко упала в песок. Настя подобрала ее и хранит до сих пор. Васька, натужившись, рванул вагонную дверь. Блоки брызнули струйками ржавой пыли. Тракторы стояли в вагоне сомкнутым строем, новые, блестящие, сохранившие еще запах краски. К седлам были прикручены проволокой желтые ящики с частями и набором инструментов.

Принесли помост, спустили на веревках фордзон и поволокли под навес, к пакгаузу. Семен Семенович командовал перевозкой. Плешивый сторож почему-то страшно беспокоился за целостность колесных ребер.

Начальник замыкал шествие. Ничего нельзя было прочесть на его спокойном, строгом лице. Как и всегда, держался он прямо, по-военному, шагал размеренно и точно, только глаза его были устремлены куда-то вдаль, вверх и людей, и трактора.

Счастливые и утомленные сары-булакцы остановились в тени пакгауза. Сторож внимательно разглядывал колеса и рычаги управления, потом положил на руль темные тяжелые ладони и сказал, сосредоточенно улыбувшись:

— Умел бы, так сам поехал. Жаль—не обучен.

Он даже не заметил, как поразили его слова всех сары-булакцев. Только сейчас они вспомнили, что никто из них никогда не имел дела с трактором. А все шоферы уехали с автомобильной колонной.

Тревожная весть росла и ширилась.

Сторож закричал, поблескивая розовой плешью:

— Техник есть! Ему поручить!

— Не могу я,—пояснил Василий.—Я двигателей не знаю. Я—путеец.

— Там путеец или мутеец—нас это не касается!—внезапно рассердился сторож.—Должон знать, раз техник!—Он разошелся и кричал все громче.—Плотника возьмем званпе—он тебе и гроб и избу срубит. Плохо ли, хорошо, а может. Какие же ты машины учил?

— Пошел к сатане!—заорал Василий.—Ишь, экзаменатор!

— Как же это так?—обиженно спросил сторож—Техник, а машины не знаешь? Тут, граждане, не чисто!—пронзительно крикнул он, даже подпрыгнув.—Тут человек замирается. Пощупать надо, беспременно—может, шпиль или Рамзин какой!

Василий, обозлившись, сунул ему в нос свой комсомольский билет:

— Поорешь у меня!

Сторож сразу увял от этого окрика. Василий понял, что орал он зря, без всякого умысла, лишь бы дать какой-нибудь выход своим волнениям.

Семен Семенович кашлянул. Глаза его были мутными. Он понял, что погибла единственная возможность переломить свою жизнь, навсегда избавиться от гнетущей глухой тоски и стать для всех, а главное—для себя самого, большим человеком.

Начальник хмуро разглядывал собственный ноготь. Героический срыв пломбы теперь казался ему пелепым и смешным жестом, и он оценивал его с точки зрения объяснений, оправданий, взысканий, судов и прочих скорпионов, на которые так щедра высшая железнодорожная администрация.

Сторож угадал его мысли и жалостливо сказал:

— Года на три закатают тебя, Петр Евграфевич... Не менее... Так и помрешь в тюрьме...

Взмыл семафор, открывая путь скорому № 42. Рельсы гудели как похоронные колокола. Скорый мчался, давя мечты и надежды...

Мрачная решимость блеснула в глазах начальника.

Он совершил второе преступление: приказал главному кондуктору продлить двухминутную остановку скорого до особого распоряжения.

Неспеша ходил начальник из вагона в вагон, разыскивая тракториста. Он зарабатывал верное увольнение без пенсии и все-таки ходил, вежливо спрашивая:

— Граждане! Экстренно нужен тракторист. Нет ли такого среди вас?

Сары-булакцы, стоя под окнами вагона, хором подхватывали его слова. Девушки смеялись над волосатостью Семена Семеновича и отвечали:

— Нет, мы учимся во второй ступени и возвращаемся из летнего отпуска.

Девушки были загоревшими, белозубыми; тугие смуглые руки легко просвечивали через ткань тонких платьев.

Пассажиры ругались и бегали с жалобами к главному кондуктору. Он свирепо требовал у начальника путевку, но старик точно обезумел и попирал ногами все правила, уставы и расписания, которым молился свыше тридцати лет.

Он прошел поезд до самого паровоза и не нашел ни тракториста, ни шофера. Тогда он направился в железнодорожную святиню—спальный пульмановский вагон. В купе № 4 он обнаружил американца, инженера-механика, ехавшего в отпуск на Кавказ.

Американец разговаривал с сары-булакцами из окна. Был он еще не старый, высокий, широкоплечий, с крупным прямым носом и серыми глазами. Сары-булакцы умоляли его хором, как нищие Соломона, он изумлялся и ничего не понимал.

Тогда Васька решил использовать свои скудные познания в английском языке.

Речь его звучала очень дико. Американец понял основное: нужно куда-то сходить, коротко сказал «олрайт» и вышел. Сторож, восхищенный такой сознательностью, поволок американца к трактору. Сары-булакцы мигом выгрузили чемоданы. Американец в это время недоуменно осматривал трактор. Сторож колесом ходил вокруг него, силясь изъясниться на своем ярославском наречии.

Поезд гукнул и тронулся. Американец рванулся, но сторож схватил его за рукав.

— Обождь, обождь!—кричал сторож. Американец глухо выл, пытаясь стряхнуть его.

Прошел пульмановский вагон; за стеклом, в купе американца, отчаянно орал черный кот Клеврет, забравшийся туда вместе с начальником и не успевший выйти. Поезд набирал скорость, увозя из Сары-Булака последнего лодыря. Американец боролся с плешивым сторожем, бросал его на землю, но тот потный и запыленный, лежа хватал американца за ноги.

Когда прошел последний вагон, американец замер, увидев свои чемоданы выгруженными. Его глаза выкатились из орбит. Нелепо размахивая руками, он оседал перед чемоданами все ниже и ниже.

Сары-булакцы окружили его, как дикари захваченного в плен мореплавателя. Хвост поезда исчез за поворотом. Аме-

риканец заметил Ваську, прыгнул к нему, крикнул что-то и порывисто сдвинул на затылок свою фетровую шляпу.

На все попытки завести разговор он отвечал ругательствами и по-русски требовал жалобную книгу.

Васька притворялся, что не понимает слова «жалобная книга». Американец угадывал эту хитрость и свирепел еще больше.

Настя тем временем принесла русско-английский разговорник и передала его Ваське.

В проклятом разговорнике не было ничего подходящего. С большим трудом Васька нашел в отделе «Путешествия» какую-то фразу, откашлялся и несмело обратился к американцу:

— Надеюсь, вы извините нас за это маленькое неудобство. В путешествиях приходится мириться со многим.

Изумленный такой наглостью, американец медленно покачал головой и расстегнул ворот рубахи. Васька прочел ему вторую фразу:

— Мы так давно ждали вас и очень рады с вами увидеться.

Казалось, что американца тут же на месте хватит удар. Он побагровел, грозил кулаком и брыгался слюной. Спняя жила трепетала на его шее. В его голосе слышались истерические нотки. Сары-булакцы робко молчали. Совершенно медовым голосом Васька прочел третью фразу:

— Наша встреча произвела на меня незабываемое впечатление.

Американец встал, ударил себя в грудь кулаком, крикнул:

— Шалобная книга, коловотьяп!—бессильно рухнул на чемоданы и поник головой.

Настя робко поставила перед ним тарелку с хлебом и жареной курицей. Он с презрением отверг эти скромные дары. Сторож презрительно сказал Ваське:

— Эх, ученый! Объяснить не можешь...

— Молчи!—огрызнулся Васька и помчался домой.

Вернулся он с учебником Войниловича и Няньковского, по которому изучал английский язык в техникуме.

Чудесный учебник. В нем оказалось и «соревнование», и «трактор», и «завод», и «ящики», и даже «лодка».

В какой-нибудь час Васька написал две страницы, из которых можно было кое-как понять суть дела.

Чтение этого шедевра живо напоминало вручение адреса какому-нибудь должностному лицу. Все станционное население полукругом выстроилось перед американцем. Васька читал медленно, отдельно, подчеркивая особо важные слова жестами и восклицаниями. Розовый сторож сам того не замечая, повторял все его движения.

Американец сначала не хотел слушать и безучастно смотрел вдаль. Его шляпа валялась рядом, на песке.

Сары-булакцы встрепенулись, когда он вдруг переспросил какое-то слово.

Когда Васька окончил чтение, американец встал. Хруст песка под его ногами слышался совершенно отчетливо. Он подошел к Ваське, взял листки, перечитал их и обвел сары-булакцев диким, блуждающим взглядом.

Сары-булакцы съехлились, ожидая нового взрыва ругани. Американец вдруг захохотал.

Еще никогда сары-булакцы не слышали такого неистового хохота. Американец извивался на своих чемоданах, приподнимаясь и снова падал; слезы текли по его багровому лицу; он только немощно шевелил рукой, не имея сил достать носовой платок.

Сипя, охая, посапывая, он на трясущихся ногах добрал кое-как до Васьки и сказал томным голосом, как умирающий:

— Ну, чорт с вами! Я люблю приключения. Я не так рад нашей встрече, как вы, но и на меня она произвела незабываемое впечатление. Расскажите мне толком, что вы намерены делать с трактором.

И хотя он говорил по-английски, все поняли смысл его слов.

Американец осмотрел паром, подивился русской выдумке и согласился помочь.

С груженной лесом платформы украли бревно и несколько досок. Американец засел в телеграфной и за какие-нибудь два часа сделал подробный чертеж и расчеты. Сары-булакцы дружно взялись за работу; к середине следующего дня паром был превращен в моторное судно. Васька раздобыл краски и крупно написал вдоль носа: «Победитель».

Реконструированный паром выглядел очень странно. Ось делала его пополам и была укреплена в четырех деревянных подшипниках с железными вкладышами. Колеса получились

не круглыми, а десятиугольными, зато необыкновенно прочными: полуторавершковыи доски прошпвали шестидюймовыми гвоздями.

Трактор сначала решили поместить на носу, мертво укрепив колеса в деревянных распорах. Но когда втащили трактор, нос ушел в воду. Паром напоминал ныряющую утку. Василий посоветовал переместить трактор на корму. Нос поднялся. В раскаленное небо смотрела, как вызов, красная надпись—«Победитель».

Американец тем временем наскоро обучал Василия тракторному делу. Семен Семенович попытывался у сторожа, бывшего волжского матроса, как различать мелн по ряби.

Перед пробой еще раз тщательно проверили все детали.  
— Можно пускать, — объявил Василий.

Сары-булакцы, крича, толкаясь и переругиваясь, толпой полезли на паром. Он не мог выдержать такой тяжести, осел и зачерпнул. «Воп!»—страшным голосом крикнул Семен Семенович, замахнувшись гаечным ключом. Очистив паром, он вычерпал воду и организованно провел посадку.

Васька дал сразу третью скорость. От толчка все попадали. «Победитель» прыжками пересекал реку. Мотор ревел, ось стонала; водяная завеса нависла над паромом.

Когда «Победитель» вернулся, пловцы стояли по колено в воде.

Решили уменьшить передачу и устроить над колесами дощатые щиты. Когда устроили, Васька окрасил их в зеленый цвет. «Победитель» стал нарядным, как волжский пароход.

Американец непрерывно щелкал «кодаком». Напоследок он снял начальника во весь рост. Старик стоял перед аппаратом навтыяжку; видно было, что ему мучительно хочется взять под козырек.

В одиннадцатый вечера американец покинул Сары-Булак. Начальнику удалось забронировать для него плацкарту в жестком вагоне. Вагон вонял карболкой, место попало неудобное, боковое, но американец совсем не жалел о потерянных пульмановских благах. Уж на ходу он говорил из окна вагона:

— Мои друзья! Пока не потеряно мужество, не потеряно ничего. Россия стала страной мужества; Россия победит так же, как победила в свое время Америка. Я сохраню на всю жизнь воспоминание о нашей встрече—вот вам моя

рука! За успешное плавание нашего «Победителя»,—гип, гип, ура!

Сары-булакцы, убыстряя шаг, шли рядом с вагоном и кричали «ура!» Заспанные пассажиры выглядывали из окон. И опять девушки смеялись над волосатостью Семена Семеновича.

Постепенно Сары-булакцы отстали от поезда, и только сторож бежал вприпрыжку и восхищенно стучал кулаком в свою грудь.

— Милый! Да разве мы не понимаем! Как всё одно в Америке! Догнать и перегнать, милый! Прощай! Супруге кланяйся, деткам!

— Ну вот, мы большими людьми стали,—сказал Васька, закуривая папирску.

Настя сидела у открытого окна и нестрывно смотрела на зеленый огонек семафора, за которым скрылся поезд, увозивший американца в мир.

Но и Сары-Булак был теперь включен в этот мир, потому и не чувствовала Настя гнетущей тоски, как раньше; казалось, что американец даже и не уехал, а просто ушел в другую комнату, словно бы все люди на большой советской земле жили под одной крышей.

— Главное—мужество,—философствовал Васька.—«Пока не потеряно мужество—не потеряно ничего».

Над пустыней взошла луна. Крупные звезды ложились на гребни барханов.

Светилось окно начальниковой квартиры. Профиль старика иногда четко обозначался на тонкой занавеске.

— Не спит, —улыбнулась Настя.—Чудесный старикан!

Васька подошел к ней и сказал очень серьезно, хотя и не совсем понятно:

— Старикан, говоришь? А по-моему, Настя, у него года на убыль пошли. И не шамкает теперь,—так и рубит словно топором. Слушай, Настя, я что-то все перепутал. Вдруг люди сначала духом стареют, а потом уж телом. Наоборот, понимаешь. Только это, наверное, идеализм.

Какой-то железнодорожник прошел мимо, помахивая фонарем. Настя справилась о времени.

— Кто ж ё знает!—зевнул железнодорожник.—Поди, первый час. Ложки спать мужа-то, бесстыдница. Завтра на рассвете ехать ему.

Железнодорожник стоял в тени; виден был только зеленый, круглый глаз фонаря. И казалось, что сама темнота разговаривает с Настей, потягиваясь и зевая.

Рассвет пришел прохладный, прозрачный; голоса звонко отдавались над рекой, и каждое, самое пустяковое слово, чувствовалось сегодня на вес.

Бабы несли к парому булки, пирожки и котлеты.

Фельдшер в знак примирения снабдил Семена Семеновича старой берданкой и тремя десятками патронов.

Начальник шутливо крикнул:

— Получите путевку!

Трактор взревел. «Победитель» медленно отошел от плоского песчаного берега и повернул вниз по течению, вспарывая густую желтую воду и оставляя за собой кипящий след.

Вот уже зашел он за далекие камыши, опять показался на излучине и скрылся за поворотом.

Сары-булакцы разошлись по домам.

Только Настя все стояла на берегу, прислушиваясь к уплывающему тугому реву мотора. Через полчаса она уже не могла разобрать, то ли трактор ревет вдалеке, то ли комар тянет сквозь тишину свою звенящую нитку.

Приток, по которому шел «Победитель», впадал в реку верст на четырнадцать ниже завода; предстоящий подъем против течения очень тревожил Семена Семеновича.

На пароме, кроме Васьки, Семена Семеновича и сторожа, находились три грузчика, командированные артелью.

Ящики были уложены на корме, рядом с трактором. Семен Семенович тщательно обернул их брезентом, чтоб сырость не оседала на металл.

«Победитель» изрядно-таки поскрипывал. Плавно уходили назад голые, плоские берега, длинные спины мелей и скудные камыши. Приток разливался в низовьях широко, и потому казалось, что «Победитель» идет очень медленно. Только кипящая струя за кормой свидетельствовала о настоящей скорости.

Семен Семенович стоял на носу, разглядывая фарватер. Ветра не было, и он легко угадывал мели по особенной мелкой ряби и прозрачно-золотому отблеску воды. Васька дежурил около трактора. Красный от натуги грузчик воро-

чал рулевое весло, преодолевая упругое сопротивление воды и скорости.

В десять солнце было еще терпимым. В одиннадцать Семен Семенович обвязал голову мокрым полотенцем. В двенадцать воздух накалился так, что пот высыхал раньше, чем успевали его вытереть. Лицу было тесно от тонкой слякотной корки.

«Победитель» шел, спугивая розовых цапель и нарушая покой кабанов в камышах.

После полудня жара стала совершенно невыносимой. Каждые десять минут меняли в радиаторе воду, наливали теплую, густую, выливали—кипяток.

Приток становился все шире. Все гуще набегали с берега камыши.

Семен Семенович сказал, пытаясь улыбнуться:

— Идем здорово.

Какая-то зловредная муха укусила его за нижнюю губу. Губа чудовищно вспухла; разговаривая, Семен Семенович поддерживал ее пальцем.

Вечером достигли реки.

Приток сразмаху врезался в нее и шел мутной полосой до середины.

«Победитель» яростно рвался против течения. Скорость его сразу упала вдвое.

Ночевали в камышах. Комары поднимались целыми тучами, и не было никакой возможности спастись от них.

Утром Васька ощупал чудовищно опухшее лицо. Волдыри нестерпимо чесались. Семен Семенович посоветовал намазать волдыри машинным маслом. Это принесло некоторое облегчение, но когда снова начало припекать, высохшее масло стянуло кожу лица, волдыри полопались и кровоточили.

В час дня трактор дал первый перебой. Васька замер, схватившись за рычаги. Семен Семенович тревожно спросил:

— Шалит?

— Шалит,—ответил Васька.

Он сразу охрип от волнения.

Смена воды в радиаторе не помогла. Перебои повторялись все чаще и чаще.

В два часа дня трактор встал.

«Победитель» точно врос в блестящую гладь. После

тугого рева мотора и плеска колес было странно слышать тихое журчание воды за бортами.

Из камышей выплыла стайка чирков, обманутых тишиной. Васька схватил берданку и выстрелил. Чирки улетели невредимыми. Выстрел прозвучал сухо, коротко, точно деревянной колотушкой ударили.

— Мимо!—тихо сказал рулевой.—Против солнца неловко.

Помолчал и добавил таким же ровным, бесстрастным голосом:

— Что же делать однако? Относит назад.

И тогда все заметили, что «Победитель» движется. Излучина медленно уходила, и те камыши, где Васька поднял чирков, были уже вне выстрела.

Скрипнул песок. «Победитель» качнулся, ткнувшись в песчаный берег. Еще звонче запела вода за бортами. А солнце палило в упор, и казалось, что еще минута—и ни вода, ни песок, ни глина не выдержат этого оглушающего прямого блеска, рассыплются, испарятся, превратятся в хаотическую туманность!

Первым очнулся сторож.

— Долго мы будем здесь сидеть?—спросил он, болтая в воде босыми ногами.—Надо, ребятки, паром отвязывать, да вниз по течению... Обратно.

— Два дня потеряем. Не успеем на завод,—ответил Семен Семенович, поддерживая пальцем вспухшую губу.

— Завод, завод!—озлился сторож.—Бес его заberi, этот завод! Выдумали тоже... На тракторе плыть. Ровно маленкие.

Он плевком потушил окурок и швырнул в реку.

— Сталкивай, ребятки, паром. По течению завтра к вечеру дома.

Грузчики лениво взялись за шесты. Семен Семенович решительно сказал:

— Не тронь.

— Как «не тронь!»—закричал сторож, приплясывая от злобы.—Ты здесь кто?

— Я тебе говорю—не тронь!—заревел Семен Семенович.

Сторож притих. Семен Семенович снял с ящиков веревки, нарастил их якорной цепью и теми концами, с помощью которых втаскивали на паром трактор. Он решил вести «Победителя» на бечеве. Он выпотрошил свою ватную куртку и принялся шить лямки, действуя гвоздем вместо шила.

— Никак волоком тащить хочет!—догадался сторож.—  
Семьдесят верст! Ошалел! Совсем ошалел!

Сторож суетился, приседая и хлопая себя по ляжкам. Семен Семенович спокойно снял штаны и, поднимая с илистого дна желтую муть, прошлепал к берегу.

— Пошли, что ли?

Никто не отозвался на его призыв. Он в одиночку, весь багровый от натуги, спихнул «Победителя» на глубину.

— Кишка лопнет, милый!—сказал сторож.

Семен Семенович впрягся в ляжку. Паром дрогнул. Веревка вытянулась и, глухо звеня, судорожно дрожала, касаясь воды и взбрызгивая ее.

Сдвинутый паром попал на течение, и оно потащило его назад. Семен Семенович не мог противостоять ровной ипестошщимой силе реки. Лямка тянула его; он отступал шаг за шагом, он хватался за кустарники,—занозы входили в его ладони. Бечева поставила его на колени, потом опрокинула на спину; он поднимался медленно, весь исцарапанный и страшный. В бороде его запутались колючки и ветки. Он закричал воспаленным голосом:

— Назад тащит! Позор принимаем!

В бессильной ярости он скрипнул зубами и отступил еще на два шага.

Васька махнул в воду, не раздеваясь. Вдвоем они задержали паром, но двинуть его вперед все-таки не могли.

Сторож подскочил к грузчикам с кулаками. В раскаленное небо врезался его одинокий, визгливый голос:

— Чего ж вы буркалы выпятили! Мучаются люди, а они сидят! Князь! Давай шест! Обождь, Семен Семенович, мы сейчас! Давай, ребятки, ближе к берегу, ближе! Веревку-то подберите, чертн, веревку!

Кое-как, отпихиваясь рулевым веслом, подчалили к берегу и там разделились на смены. Васька и рулевой остались на пароме; Семен Семенович с двумя остальными впряглись в бечеву. «Победитель» медленно отошел к середине.

— Пошли!—сказал Семен Семенович.

Как-то сами собой головы и руки повисли; люди падали на бечеву и тащили паром не столько силой ног, сколько тяжестью тела. Профессиональный бурлачий навык выработался в пять минут.

Семену Семеновичу было стыдно за такую нелепую трату человеческой силы. В глаза ему блестела река. Усиливалась

ненависть к ее слепому, бездушному сопротивлению. Веревка больно врезалась в плечо, а Семен Семенович налегал еще сильнее: боль свидетельствовала о продвижении все-таки вперед, о победе.

Сначала казалось, что тащить немногим труднее, чем просто идти. Но уже через час Семен Семенович выдохся: было самое жаркое время дня.

Понемногу он начал терять ощущение реальности—впал в забытие на ходу. Он ни о чем не думал, шел и шел и даже не перекидывал лямки на другое плечо. Кочки вскакивали на его пути, корни гнилого камыша цеплялись за ноги, он не видел, а скорее угадывал их и перешагивал автоматически. Сумасшедшая мысль мелькнула в его мозгу,—будто он так и возник в мире, в этой пустыне, с ляжкой на плече, и нет конца пути, солнцу, песку и беспощадному прямому блеску реки.

Боль в плече вернула его в мир. Паром направлялся к берегу. Вышла вторая смена. Семен Семенович упал на ящики. Глухо, словно издалека, услышал он Васькин голос:

— Не спи, Семен Семенович. На мель сядем.

В эту ночь даже комары не мешали спать. На рассвете Семен Семенович растолкал Ваську и протянул ему кружку с чаем.

— Выпей, отойдешь.

— Я ничего... Еще крепкий,—бодрился Васька, а сам морщился и стискивал зубы: болел каждый сустав.

Над рекой тяжело колыхался зеленоватый пахучий туман. В камышах шныряли и кричали утки; испуганные вспышкой спички, они с шумом поднялись и долго свистели крыльями вверх по реке.

— Быстры!—сказал Семен Семенович.—Поди, в час верст сто шпаят,—и вдруг порывисто схватил Васькину руку:—Доставить надо, Василий Ильич! Это уж обязательно надо!

Борода его топорщилась; он с силой притягивал Ваську к себе и смотрел ему в глаза так напряженно, словно Васька мог одним словом сделать и уладить.

Грузчики невесело шутили, впрягаясь в лямку.

До завода осталось сорок с лишним верст.

В машинном отделении работали в три смены, заканчивая монтаж двигателя.

Главный механик Криницкий оброс и пожелтел. Измазанный нефтью и маслом, он не выходил из машинного, осматривая, отстукивая, выслушивая и даже обнюхивая двигатель.

Телеграмму из Сары-Булака получил он в полдень и на ходу прочел ее.

«Недостающие части двигателя отправили моторной лодкой» — гласила телеграмма. Недоуменно дернув плечом, Криницкий сунул телеграмму в карман. Там она и затерялась среди разных бумаг и сора.

Через два дня ночью стрелок воензированной охраны, дежуривший на берегу реки, заметил «Победителя».

Потом стрелок рассказывал, что люди, тащившие паром, упали, как только остановились. Они могли держаться только на ходу, как велосипед.

С помощью караульного наряда ящики были выгружены и переданы в склад. Сары-булаковцев отвели в караульное помещение и уложили спать.

Утром секретарь заводской ячейки и председатель завкома прибежали в караульное помещение. Сары-булакцы спали где попало — на скамейках, на столах и даже на полу.

— Безобразие! — рассердился секретарь. — Постелей дать не могли!

Председатель мигом раздобыл тюфяки. Секретарь, воспользовавшись тем, что Семен Семенович все равно проснулся, расспросил его о походе «Победителя».

Семен Семенович рассказывал в полусне, поддерживая пальцем распухшую губу.

В серой полутьме склада главный механик Криницкий рассматривал содержимое ящиков.

— Больше ничего нет, — сказал он, указывая на груду болтов и чугунных плит. — Они ошиблись... Двигатель уж давно целиком переправлен на завод. А это — запасные фундаментные болты и плиты. Сейчас они все равно не нужны.

Секретарь задумчиво крутил папиросу. Был он седой, с темным следом казальского клинка на лице. Он выразительно — подмигнул председателю месткома. Тот закрыл двери склада и наложил засов.

— Эти ящики открытыми видели только мы трое, — сказал секретарь, чиркнув спичку. Сумрак стал на миг красноватым. Где-то пискнула испуганная крыса. — И мы

ведь можем предположить, что здесь в самом деле были детали. Ведь можем?—спросил секретарь и закончил, мягко улыбувшись, словно пзвиняясь за свою слабость:—Верст восемьдесят тащили. Разве шутка! У них плечи в кровь истерты.

Мелкие морщинки спянием лежали вокруг его глаз. И всем почему-то стало очень тепло—и от голоса его и от взгляда. Криницкий торопливо сказал:

— Конечно, конечно! Было бы бессмысленной жестокостью говорить им об этом. Болты дела не меняют. Они совершили подвиг. Важно, что они предполагали в этих ящиках детали. Суть в том, что они предполагали, в их воле, стремлении...

— Философствуешь, инженер,—перебил его председатель завкома,—тут все много проще. Суть в том, что они доставили необходимые детали и спасли положение. А ты, инженер, пожалуйста, не философствуй, а то все сразу догадуются... Жаль только, что мучились они без всякого смысла.

— Как это—без смысла?—рассердился секретарь.—Вот здесь и нужно пофилософствовать. Чудак ты! Ведь они к нам другими людьми пришли. Деталей мы, железа, не получили, зато людей новых получили.

Сары-булакцы в это время были разбужены заводским врачом. Он промыл и забинтовал их израненные плечи. Грузчики потребовали от него справки: они на две недели выбывали из строя и не хотели терять заработка.

На торжественном заседании, посвященном пуску завода, секретарь рассказал о походе «Победителя». Он говорил искренно и горячо. Криницкий понял, что он и себя заставил поверить в то, что были доставлены именно детали, а не болты.

Герои стройки, в том числе и экипаж «Победителя», сидели в первом ряду.

Оркестр ревел им прямо в лицо.

И здесь, при ярком свете электрических ламп, в медном реве оркестра, навсегда умерла тоска Семена Семеновича.

Он был включен в число делегатов, посланных с известием о победе на сессию ЦИКа. Секретарь и там рассказал о «Победителе». Сессия аплодировала бурно и долго. Семен Семенович хотел сказать что-то и не смог,—от волнения у него отнялся язык.

Начальника Петра Евграфовича все-таки привлекли к суду. Но завод и станция так решительно встали на его защиту, что прокурор республики лично распорядился прекратить дело, и сторожу не пришлось ехать в Москву к Сталину отхлопывать Петра Евграфовича из тюрьмы.

Секретарь ячейки, председатель месткома и главный механик Криницкий очень сдружились после памятного разговора в складе.

Слово свое они держат крепко, и до сих пор никто не знает правды об ящиках.

Семен Семенович, наверное, так и умрет, ничего не подзревая. Впрочем, и бесполезно говорить ему—он все равно не поверит и только обидится, приняв это за злостную попытку умалить его заслуги перед республикой.

## СТО ДВЕНАДЦАТЫЙ ОПЫТ

### 1

Спирт горел ровным синим пламенем. Мутный раствор в колбе медленно прояснялся. Сергей Александрович Шер сказал:

— Шестьдесят четыре. Смирнов, приготовьтесь.

— Все в порядке, — ответил Смирнов.

Мензурка в его руке дрожала, отбрасывая на стену зыбкое теневое пятно.

Столбик ртути медленно полз вверх. Сергей Александрович напряженно следил за его движением.

— Шестьдесят пять!

Смирнов опрокинул мензурку. Раствор в колбе порозовел, но через секунду опять замутился. На дно медленно оседали мутные растрепанные хлопья. Сергей Александрович выпрямился.

— Неудача, Смирнов. Нас преследует неудача...

Смирнов молчал. Его заострившие пальцы сжимали остывающий термометр. Ветер шевелил расстегнутый ворот его рубахи.

Сергей Александрович вдруг рассердился.

— Почему вы не бреетесь, Смирнов? В двадцать пять лет человек обязан бриться ежедневно. А вы уже целую неделю ходите со щетиной! Запишите, Смирнов, наш сегодняшний плачевный результат.

Окна лаборатории были открыты. Вдоль столов лежали солнечные полотна. Смирнов открыл толстую клеенчатую тетрадь и на чистой странице написал заголовок: «Опыт № 110».

Сергей Александрович стоял у окна в обычной позе—сгорбившись и засунув руки в карманы. Он был маленьким, сухим и подтянутым; в курчавых волосах искрилась седина, тонкую жилистую шею обжимал жесткий воротничок, на брюках топорщилась ровная складка.

Перед ним—в шкапах, на столах и на полках—всеми цветами радуги отблескивало стекло. Выстроившись по ранжиру, замерли пузатые колбы, на правом фланге зияли жерла мензурок, трубки в штативах напоминали пулеметы «кольт», змеевики перевивались, как шланги огнеметов. Сергей Александрович был полководцем этой стеклянной армии, неудачливым полководцем, проигравшим сто десять сражений подряд.

Смирнов закончил описание опыта и направился к умывальнику.

— Стыдно быть таким неряхой,—громко сказал Сергей Александрович.—Через полгода вы, Смирнов, будете инженером и, возможно, поедете за границу. Вы владеете двумя языками, а между тем на висках у вас отросли пейсы и ногти не стрижены. В Европе вы будете похожи на пауаса.

— Довольно, Сергей Александрович!—яростно крикнул Смирнов.

Мыльная пена медленно таяла на его скуластом лице. Хлестнув ладонью по мокрому мрамору, он повторил:

— Довольно! Вы проели мне все печенки! Какое вам дело до моей внешности?

— Она портит мне настроение, а следовательно, снижает работоспособность.

— Вот что! Разрешите все-таки напомнить, что дискуссии о моей наружности повторяются периодически, как раз в те дни, когда мы регистрируем результаты опытов. Удивительное совпадение! Нет, Сергей Александрович, я не намерен быть козлом отпущения! Всю злость за ваши неудачи вы срываете на мне. Довольно!

— Почему же эти неудачи—мои? Я подозреваю вас в дурных намерениях, Смирнов. Если удача—так наша, а неудача—так моя?..

Смирнов резко отвернул кран. Гудящая струя хлынула в раковину. Брызги разлетались по всей лаборатории. Рыхлая фильтровальная бумага покрылась серыми крапинками.

Сергей Александрович смотрел в окно. Был май. Тонкая зеленая деревьев сквозила. Тугой, сдержанный рокот фабрики

едва слышался,—лаборатория помещалась вдали от основных корпусов. Наружная стена служила продолжением забора; окна выходили прямо в простор. За оврагом, куда сбрасывалась фабрикой отработанная вода, цвели сады—сырьевая база. Сады тянулись на многие версты—вишневые, яблоневые, грушевые,—белые и розовые в своем неудержимом цветении. Вдыхая сладкий от запаха ветер, Сергей Александрович думал о том, что эссенция пахнет все-таки гораздо чище и определеннее. Сергей Александрович был инженером, а следовательно, математиком, а следовательно, рационалистом, и во всем искал чистоту и определенность.

Звонко лопнуло за спиной стекло. Сергей Александрович подпрыгнул и схватился за сердце. Сколфуженный Смирнов, сидя на корточках, подбирал осколки; его костлявые колени углами торчали под тонкими, почти ситцевыми брюками.

— Никуда не годятся нервы,—сказал Сергей Александрович.

Голос его подрагивал. Он подошел к Смирнову и положил на его широкое плечо свою маленькую сухую руку. Сплетение жил на руке было темным и резким.

— Бросьте, Смирнов. Подберет уборщица. Вы извините меня, Смирнов, я придираюсь к вам. Нервы никуда не годятся. Мы заработались с вами: слишком мало спим и совсем не отдыхаем. Я уже полгода не был в театре. Вы правы, Смирнов, предпочитая ходить небритым, зато высыпаться как следует...

Собственный голос слышался Сергею Александровичу издали. Лабораторию он видел мутно, точно вне фокуса. Неожиданно он почувствовал стеснение в груди, пошатнулся, ахнул и схватился за что-то рукой. По страшному грохоту и звону он понял, что опрокинул полку с посудой и успел пожалеть об этом. Потом он услышал голос Смирнова:

— Вам плохо? вам плохо?

«А мне действительно плохо»,—удивленно подумал он, и больше ни о чем не успел подумать—потерял сознание.

## 2

Мир возвращался к Сергею Александровичу не сразу—сначала в резком запахе нашатырного спирта, потом в смутных звуках человеческого голоса. Сергей Александрович с

трудом поднял веки и сейчас же снова опустил: свет был невыносимо ярким.

— Вы меня слышите?

Он узнал голос фабричного врача и слабо, одним движением губ, ответил:

— Слышу.

Когда он снова открыл глаза, то увидел, что лежит на кушетке в амбулатории. Врач укоризненно покачивал головой.

— Неделя в постели, и две недели абсолютного отдыха. Ни читать, ни писать, даже не думать, по возможности. Существовать биологически. Понятно?

— Три недели?—переспросил Сергей Александрович и посмотрел на директора, точно моля о защите.—Я не могу.

— Или вы будете лечиться,—перебил врач, внушительно сдвинув брови,—или я заранее выпишу вам путевку в желтый дом. У вас абсолютное переутомление, мой дорогой, абсолютное! Понятно?

Сергей Александрович вздохнул—и покорился. Директор приказал подать машину. Врач поручил санитару доставить Сергея Александровича домой.

— Я сам провожу,—вмешался Смирнов.

— Зачем же?—удивился врач.—Проводит санитар.

— Он не знает адреса.

— Шофер знает. К тому же Сергей Александрович в сознании. Может сказать.

— Меня это нисколько не затруднит...

Врач пристально посмотрел на Смирнова. Стекла очков поблескивали холодно и подозрительно. Смирнов покраснел.

— Санитар может вам понадобиться... Вдруг несчастный случай. А я все равно свободен...

...Круто повернув, автомобиль выскочил из фабричных ворот на шоссе. Асфальт был голубым—в нем отражалось небо. Края шоссе были осыпаны желтым цветом акации. Машина шла ровно, мягко шелестя шинами. В лицо упирался ветер, захлестывал дыхание. Машина сбавила скорость; мотор звеняще завыл, одолевая подъем. Начались зеленые и розовые предместья.

Остановились у желтой невысокой калитки. Смирнов бережно взял Сергея Александровича под локоть. Сергей Александрович вырвался и с досадой сказал:

— Вы считаете меня наполовину покойником, Смирнов. Вы ошибаетесь, уверяю вас.

На желтые стены дома облокотились тополя и березы. Аллея похрустывала под каблучками. Смирнов позвонил. За дверь послышался перебивчатый чокот каблучков.

Дверь открыла Ольга, дочка Сергея Александровича. «Почему так рано?»—хотела спросить она, но только ахнула, увидев иссиня-бледного отца.

— Пустяки,—сказал Сергей Александрович, судорожно глотая слюну.—Я просто заработался. Мне дали полторы недели отпуска.

— Три недели,—поправил Смирнов.

— Полторы недели отпуска,—упрямо повторил Сергей Александрович.—Вас не спрашивают, Смирнов! Вы бы лучше побрились!..

Ольга схватила его за руку и увела в спальню. Смирнов остался один.

На пианино стояли те же китайские вазы, также сурово смотрел со стены бородатый Галилей, которого Сергей Александрович почитал самым большим из средневековых ученых. Жестко отсвечивала накрахмаленная скатерть. Комната отражалась в паркете, как в тусклом зеркале. Все было чистым, блестящим, но не холодным; даже мраморная группа «Материнство», освещенная солнцем, казалась прозрачно теплой, восковой.

Смирнов осторожно сел на диван и увидел в зеркале свое лицо. Небритое и скуластое, оно показалось ему отвратительным. Воротничок был серым, галстук—смятым и перекрученным. На сорочке бледно розовело подозрительное пятно.

Смирнов закрыл воротничок, сорочку и галстук отворотами пиджака и сразу стал похож на бродягу, как их рисуют в юмористических журналах. Рукава были коротки; очень некрасиво вылезали из них большие красные руки, похожие на гусиные головы. Смирнов хотел встать и уйти, не дожидаясь Ольги, но не успел. Четко отстукивая каблучками, она вошла в комнату.

— Что вы ежитесь?—спросила она.—Нездоровится? Может быть, дать вам аспирину?

— Немного знобит,—соврал Смирнов, пряча под диван ноги в давно не чищенных, рыжих ботинках.

Она принесла ему стакан чаю. Он пил и рассказывал о ходе опытов, о несчастии, случившемся с Сергеем Александровичем.

ровичем, о советах врача. Внезапно он побагровел и чуть не уронил стакан: увидел широкие, черные полосы под своими ногтями. Он сразу вспотел, вынул носовой платок и сейчас же сунул его обратно в карман: платок был почти черным. Вытереть пот рукавом он при Ольге не осмеливался. Она, как нарочно, пристально смотрела на него.

— Вы не были у нас целых две недели,—сказала она.— Неужели действительно вы так заняты?

Она сидела около окна, ветер шевелил тонкую прядь ее черных волос. Губы горели на смуглом ее лице. Она прищурила ореховые глаза и нетерпеливо сдвинула брови. Смирнов ответил:

— Работы очень много... Я бы и сегодня не попал к вам, но некому было проводить Сергея Александровича... Кроме того, как мне кажется, вы предпочитаете общество Зорина...

Она молчала. Часы звонко отсчитывали секунды. Она сказала с печальным вздохом:

— Вы врете, вас не знобит. У вас грязный воротничок, и вы его прячете.

Смирнов заерзал на стуле. Вместо кашля он издал невнятный стон. Ольга добавила еще более печально:

— И ногти не чищены, и носовой платок, как половая тряпка.

— Это неважно,—пролепетал Смирнов.

Свои губы он чувствовал неповоротливыми, деревянными.

— Очень даже важно!—рассердилась она.—Можно подумать, что наши молодые инженеры получают по три рубля в месяц. Ходят рваные, нечесанные. Ведь поймите, наконец, Смирнов, что, помимо всего прочего, вы срамите республику!..

— Меня автомобиль ждет,—заторопился Смирнов.

Ольга проводила его до калитки. Он шел немного отставая, чтобы она не видела его рыжих, потрескавшихся ботинок.

### 3

Фабрика окрашивала карамель импортной краской. Сергей Александрович задался целью выработать краску из советских материалов. Успешное разрешение этой химической проблемы обеспечивало республике крупную экономию валюты, фабрике—рост, Сергею Александровичу—славу и, может быть, даже орден. Сергей Александрович был честолюбив и не скрывал этого.

Директор освободил Сергея Александровича от мелкой текущей работы и предоставил для опытов специальную лабораторию. В это время Смирнов только что окончил химический институт и пришел на фабрику для прохождения заключительной годовой стажировки. Его назначили помощником Сергея Александровича.

Всю зиму они вдвоем сидели в лаборатории с утра до ночи, без выходных дней. Закончив шестьдесят с лишним опытов, Сергей Александрович убедился, что отправная точка была неверной. Пришлось начать сызнова. Второе крушение произошло на восемьдесят четвертом опыте. Сергей Александрович три дня раздумывал над допущенными ошибками, потом начал новую серию опытов. На этот раз он был уверен в успехе.

Сто десятый заключительный опыт сразил его. Но он прятал тревогу: он всегда гордился настойчивостью и выдержкой.

...Проснулся он поздно, в сумерках. Он смотрел в окно, как в темную воду. Над подушкой была прищиплена к обоям записка Ольги: «Ушла в райком, вернусь в семь вечера». Сергей Александрович посмотрел на часы. Она должна была прийти с минуты на минуту. Он решил поругать ее за скверную привычку портить обои, прищипливая записки булавками, но скоро забыл об этом, увлеченный мыслями об опытах.

Незаметно для себя он очутился—в халате и туфлях—за письменным столом. Из среднего ящика он достал блокнот, наполненный формулами и схемами. Процесс последнего опыта он помнил очень ясно, во всех подробностях. Он проверил каждую схему и не нашел ошибки. Теоретически опыт должен был дать положительный результат.

— В чем же дело, черт побери?—задумчиво пробормотал Сергей Александрович и вдруг похолодел при мысли, что опыт не удался случайно. Может быть, термометр испортился? Может быть, Смирнов перепутал реактивы? Эта мысль подхлестнула его, и он яростно заскрипел пером, в десятый раз устанавливая теоретическую несомненность окончательной формулы.

Ольга застала его за этим делом. Он не слышал ни лягания замка, ни шагов. На его исхудавшем лице лежал мертвенный отсвет синего абажура. Дрожащей рукой он тыкал перо в чернильницу, скрипя о стеклянное дно.

Ольга решительно подошла к столу и взяла блокнот. Перо проехало по странице, оставив извилистый след.

Сергей Александрович попросил Ольгу не мешать. Глаза у него были мутные, воспаленные.

— Я убедился, что опыт не удался случайно, — хрипло сказал он. — Мы провели этот опыт небрежно с технической стороны, а по существу все было правильным. Нужно повторить опыт, — и дело в шляпе. Отдай же блокнот; он мне нужен.

— Я не позволю, — решительно сказала Ольга. — Слышишь, я не позволю!

— Я достаточно взрослый человек, чтобы не спрашивать разрешений, — грозно ответил он и потянулся к блокноту.

Ольга спрятала блокнот за спину.

— Ты ведь знаешь, что сказал доктор.

— Плевал я на этого рыжебородого дурака! — рассердился он и встал, придерживая двумя пальцами расходившиеся полы халата. — Слышишь, Ольга, сейчас же отдай блокнот!

Она молча отступила к дверям. Сергей Александрович решил изменить тактику.

— Ты оказываешь мне медвежью услугу, Ольга. Подумай сама: если ты отдашь мне блокнот, я поработаю еще пять минут, закончу вычисления и успокоюсь. А без блокнота мне придется вычислять на память. Затраты мозговой энергии будут несравненно большими.

— Какой хитрец! — с упреком сказала она.

— Ты иногда бываешь невыносимо упрямой, Ольга. Я же логически доказываю тебе...

— Нет, — ответила она твердо.

Сергей Александрович, улучив момент, хищно схватил ее за руку, пытаясь силой отнять блокнот. Она увернулась. Он настиг ее. Грохоча упал стул, рухнули книги с этажерки, звеня покатились пепельница. Ольга бросила блокнот на диван и пригнулась.

— Ты вздумал еще сопротивляться, старый! — крикнула она через смех.

И вдруг Сергей Александрович почувствовал, что ноги его оторвались от пола.

Он был так ошеломлен, что сразу притих. Ольга донесла его до кровати, бережно опустила и scomандовала:

— Снимай халат!

Он послушно выполнил приказание. Он не знал, как отнестись к ее неожиданному поступку. Она, победоносно оправив волосы и смятую блузку, стала приводить комнату в по-

рядок. Сергей Александрович внимательно следил за ловкими и быстрыми движениями ее оголенных смуглых рук.

«Какая она, однако, сильная,—с уважением подумал он. Потом тихо позвал:

— Ольга...

Она обернулась.

— Ольга,—повторил он.—Я никогда еще не видел ничего подобного... Бывает наоборот... Но то, что произошло... Это даже невероятно, Ольга...

— Ты сам виноват,—смущенно ответила она.—Ты не хотел добровольно... Ну, пришлось насильно. Для твоей же пользы.

Он чувствовал настоятельную потребность чем-то ответить на ее поступок—и нечем было ответить: так неожиданно спутала она все его мысли и представления о ней.

Понимая, что говорит глупость, он все-таки сказал—очень важно, с серьезным лицом:

— Никогда не носи мужчин на руках, Ольга. Женщинам вредно поднимать тяжести... Я, как отец, запрещаю тебе...—Мыча и запинаясь, он добавил:—Впоследствии... м-м-м... это может плохо отразиться на твоём здоровье... м-м-м... когда ты выйдешь замуж и будешь беременна...

— Хорошо,—послушно ответила она и торопливо вышла.

Сергей Александрович прислушался к странным звукам в столовой и понял, что Ольга хохочет в подушку.

#### 4

Три дня Сергей Александрович работал украдкой, пользуясь отлучками Ольги по хозяйству и по комсомольским делам.

Видя, что отца не переспоришь, Ольга официально разрешила ему работать по одному часу в день. И—странное дело: получив разрешение, он сразу потерял всякую охоту к занятиям и с головой погрузился в антологию русской поэзии двадцатого века.

Ольга поощряла его новое увлечение. Стихи представлялись ей чем-то вроде пасьянса—отличным и милым средством избавлять от скуки ничего не делающих людей.

Сергей Александрович добросовестно прочел антологию от корки до корки. Голова его гудела от рифм, ритмов и созвучий. Чтобы выйти из этого нелепого состояния, он взялся за книгу по специальности и поймал себя на том, что читает

эту книгу ритмически, ищет случайные рифмы и улавливает не смысл написанного, а звучание, примитивное и грубое, совершенно нетерпимое для его изощрившегося слуха.

Он услышал за дверью подрагивающий от сдержанного смеха голос Ольги:

— Вы сегодня великолепно, Смирнов! Великолепно и величественны.

Сергей Александрович торопливо надел пиджак, поправил галстук и вышел в столовую. Навстречу ему поднялся с дивана Смирнов. Он был умыт, одет и причесан с предельной тщательностью, точно манекен из магазина готового платья.

— Переставьте пуговицы,—сказал Сергей Александрович.—Пиджак морщит в талии. А вообще—превосходно. Я очень рад, Смирнов, что вы становитесь, наконец, действительно культурным человеком.

Ольга побежала в кухню кипятить чай. Сергей Александрович расспрашивал Смирнова о фабричных делах, искренно радуясь тому, что Смирнов получил возможность немного отдохнуть за эти три недели.

Сергей Александрович испытывал отеческую гордость, видя, что в результате его усилий Смирнов успешно овладевает культурой: освободившись от чрезмерной рабочей нагрузки, он немедленно ликвидировал свою неряшливость.

— Но это нужно ввести в систему, Смирнов,—внушительно говорил Сергей Александрович.—Вы должны научиться чувствовать себя без галстука так же неловко, как без штанов, положим. И тогда вы при любых обстоятельствах поймете время следит за собой. Мы, старики, пропизли в этом отношении суровую школу. Попробовали бы вы найти в старое время хоть какое-нибудь место, если ваши брюки были плохо отглажены. И обедали через день, но брюки носили высшего качества. Сейчас, понятно, совсем другое. Вас возьмут, если вы придете даже в трусиках. Поэтому многие забывают о брюках. А брюки нужно носить красивые,—это такая же обязанность коллективного человека, как, положим, плевание в урны...

Ольга разливала чай. В бронзовой перекрученной струе вздрагивал электрический свет. Сергей Александрович вдруг звякнул ложкой о блюде.

— Не хлюпайте губами, Смирнов. Что скажут в Европе, если вы будете хлюпать губами за табль-д'отом!

— Когда этому будет конец—спросил Смирнов и отодвинул стакан.

Сергей Александрович хладнокровно ответил:

— Когда вы целиком овладеете культурой. Культура, Смирнов, капризная штука и не терпит незаконченности. Она становится карикатурной и уродливой, если в ней отсутствует хотя бы один из необходимых элементов. Нужно знать все—и то, что рыбу ножом не едят, и стихи Блока, положим...

— Но вы, например, не знаете стихов Блока.

— Я?..—оскорбленно воскликнул Сергей Александрович.—Кто вам сказал? Я очень прилично знаю поэзию. Блока в особенности.

Опять над полем Куликовым  
Аптека, улица, фонарь...

Смирнов восхищенно приоткрыл рот и медленно откинулся на спинку дивана.

— Да... дальше,—произнес он странным голосом.

Сергей Александрович почувал неладное.

— Не помню. Что-то про Америку. «Страшись по морям безверия железные пускать корабли». А в конце про звезду новой Америки...

Смирнов смеялся вначале тихо, потом все громче и громче и, наконец, в полный голос, отрывисто, точно квадратную гирию по полу катал.

Сергей Александрович обиделся и надулся. Ольга недоуменно улыбалась.

— Не будете ли добры объяснить причину вашего неуместного смеха?—сухо осведомился Сергей Александрович, когда Смирнов немного успокоился.

— Все вы перепутали, Сергей Александрович. Из разных поэтов разные строчки... Очень уж бессмысленно...

— Недостаточный повод для смеха. Пора бы знать, что в стихах не может быть «смысленно» или «бессмысленно». Стихи—вещь вообще антагонистичная смыслу, разуму. Например: «А вот глазами рококоча, глядит на вас с укором рококовый рококуй».

Ольга изумленно встряхнула головой. Смирнов подавился чаем и закашлялся.

— Стихи нужно рассматривать, как химический состав,—победоносно говорил Сергей Александрович.—Строчки—это элементы. Положим, что мы имеем десять разных составов. Если мы возьмем из каждого по одному составному элементу и соединим, то получим одиннадцатый совершенно новый состав. То же и здесь. Таким образом ваш упрек в том, что

я надергал строчки,—неоснователен, дорогой Смирнов. Но я все-таки очень рад за вас. Вы немного знаете поэзию. Когда вы поймете ее сущность, вы приобщитесь еще к одной стороне культуры. Из вас будет толк, Смирнов, я вас вышколою...

Их спор о культуре и химической сути стихов был прерван появлением фабричного врача. Смирнов стал прощаться. Ольга пошла проводить его. Врач и Сергей Александрович направились в спальню. Врач долго и тщательно осматривал и расспрашивал Сергея Александровича. Потом они вернулись к столу. Самовар был уже холодным.

— Ольга!—позвал Сергей Александрович.

Никто не отозвался. Он открыл выходную дверь и крикнул вниз, на лестницу:

— Ольга!

Каменные стены гулко повторили его призыв. Внизу послышалось знакомое пощелкивание каблучков.

— Дай нам чаю,—недовольно сказал Сергей Александрович.—Где ты была?

— Я провожала Смирнова.

Сергей Александрович пристально посмотрел на нее.

— До его дома?

— Зачем же... До нашей калитки.

— Я до сих пор думал, что ходьба до калитки занимает не больше минуты. Я начинаю думать, что ошибался.

— Оставь пожалуйста,—перебила она.—Иди и развлекай доктора.

Он не посмел спорить с ней: после того, как она отнесла его в постель, ему было неловко разговаривать с ней взыскательным тоном. Он вернулся к столу.

Доктор был одинок и потому сидел очень долго. Сергей Александрович понимал, что доктору не хочется возвращаться в свою пустую неуютную квартиру. Сергей Александрович жалел доктора, охотно поддерживал разговор и очень тепло посматривал временами на Ольгу, понимая, что именно ей обязан тем, что не проводит вечеров у чужих, как доктор, и без тоски думает о возвращении в свой дом.

— Наша молодежь очень странная молодежь,—философствовал доктор, смешно моргая белесыми близорукими глазами. В его пенсне была испорчена пружина; принаравливаясь к неправильному расположению стекол, доктор немного косил. В рыжей его бороде белели крошки сухаря.

— Очень странная молодежь. Она может сочетать самое

стопроцентное мальчишество с самой стопроцентной деловитостью. Мы не умели делать этого. Вчера, во время перерыва на завтрак, я шел мимо лаборатории. Ваш помощник Смирнов играл с мальчишками в чижка. Играл по-настоящему, с увлечением, ничего не замечая, требуя «перебить». Потом он отправился в лабораторию. Работал он до часу ночи. Он каждый день приходит в девять и уходит в час ночи. Я уверен, что вот сейчас он пошел от вас прямо в лабораторию. Он зарывается. Я боюсь, что скоро с ним случится то же, что с вами.

— Каждый день до часу ночи?—переспросил Сергей Александрович.

Странный глухой звук его голоса поразил Ольгу.

— Каждый день,—убежденно повторил врач.

Сергей Александрович катал хлебный шарик.

— Очень способный парень,—добавил врач.—И лицо у него такое честное, открытое.

Сергей Александрович поднял голову. В самоваре тускло и уродливо отразилось его лицо. Скривив губы, он жестко сказал:

— Вы ошибаетесь. Он—бездарен. Совершенно бездарен. И к тому же страшно хитер. Он мне весьма антипатичен.

Ольга едва не выронила чашку. Сергей Александрович избегал ее взгляда и упрямо смотрел на свое отражение в самоваре. Доктор смущенно покашливал: он был несогласен с Сергеем Александровичем, но считал неудобным затевать спор. Он встал и пожелал Сергею Александровичу доброй ночи. Ольга проводила его. Когда она вернулась, Сергея Александровича в столовой не было. Из-за дверей слышалось желчное шарканье его туфель. Ольга постучала.

— Ради бога, оставь меня в покое!—раздраженно крикнул он.—У меня все есть—и вода, и порошки!

Она отошла и осторожно, чтобы не лязгнули пружины, села на диван. Туфли желчно шаркали за дверью. Она грустно улыбнулась. Сидни и морщин Сергея Александровича она раньше не замечала, но слыша это шарканье туфель, почему-то очень ясно почувствовала, что отец стареет с каждым днем.

## 5

Ольга была одна. Перед ней лежали разноцветные носки; она старательно штопала их. Смирнов поздоровался и с нарочитой непринужденностью развалился на диване.

— Папа ушел гулять,—сказала Ольга, перекусывая нит-

ку.—Вам придется немного поскучать. Я не умею работать и разговаривать одновременно.

— Тогда дайте мне семейный альбом,—ответил Смирнов. Он старался говорить лениво и небрежно, чтобы она подумала, что он острит на ходу.—Дайте мне семейный альбом, Ольга Сергеевна. Я буду рассматривать пожелтевшие фотографии ваших дядюшек и тетушек...

— Пожалуйста,—перебила она, протягивая ему толстый тяжелый альбом.

Он не ожидал такой наивности и растерялся. Перелистывая альбом, он искоса наблюдал за Ольгой. Она штопала, сосредоточенно сдвинув брови; под глазами лежали голубые тени от ресниц.

— Я люблю рассматривать пожелтевшие фотографии,— снова начал Смирнов.—Дядюшки и тетушки...

— Ох!—слабо вскрикнула Ольга.—Я уколола палец. Ужасно неловко штопать без наперстка.

Несколько минут они сидели молча. За окном гудел ветер, деревья качались, на светлых обоях переливались прозрачные тени.

— Как вы, однако, хорошо... штопаете,—сказал Смирнов, рассматривая носок.—Можно подумать, что вы—чинная немецкая Гретхен.

— Я и есть наполовину немка. Может быть, это наследственность.

— Наследственность?.. Может быть... О наследственности особенно хорошо думать, когда рассматриваешь семейные альбомы...

— Я опять уколола палец,—сердито сказала Ольга.—Слышите, Смирнов, пожалейте мои пальцы и не начинайте больше разговора о семейных альбомах... Прошу вас, не надо...—И добавила, виновато улынувшись:—Я боюсь, что мое отношение к вам изменится, если я выслушаю вашу остроту. Даже неприлично в наше время острить на такие темы. Это все равно, что анекдот о дилжансе.

— Я и не предполагал острить,—мрачно насупившись, соврал Смирнов.

Дядюшка в цилиндре и нафиксатуаренных усах укоризненно смотрел на него со страниц альбома.

— Неправда,—ответила Ольга.—Вы намеревались сострить, и как раз по поводу альбома. Бросим, однако, этот разговор,—вы все равно не сознаетесь. Расскажите лучше,

как идут ваши опыты. Доктор говорит, что вы уходите из лаборатории в час ночи.

— Боюсь, нет ли в наших схемах теоретической ошибки... Хочу поговорить об этом с Сергеем Александровичем.

— Он убеждал меня на-днях, что теоретической ошибки нет. Он уверен, что последний опыт не удался случайно.

Смирнов молчал. Его пальцы нервно подрагивали на отшлифованной поверхности стола.

— Душа навыворот, а краска будет наша!—вдруг сказал он и крепко пристукнул кулаком.—Попользовались немцы, теперь довольно!

— Ну, это еще как сказать,—засмеялась Ольга.—Вы можете и сорваться.

— Нет!—ответил он с твердостью.—Краска будет наша. Даю вам честное слово, Ольга Сергеевна! Мы платим за краску ежегодно два миллиона валютой! Я чуть не помер от удара, когда услышал эту цифру!—Он помолчал и тихо добавил:—Мы должны добыть эту краску... Вот только... нет ли теоретической ошибки?.. Я уже двое суток думаю над схемой. В ней что-то неладно, а что—не могу сообразить. Хватит об этом, краска будет наша, немцы выкусят фигу вместо двух миллионов, вопрос кончен. Поговорим о другом. Когда вы кончаете институт, Ольга Сергеевна?

— Осенью. Нас уже размечают по предприятиям

— Куда же?

— Меня? Я еще не думала. Выбор большой...

Она говорила, не поднимая глаз.

— Говорят, интересно работать в Казакстане... Может быть, туда...

— Да? Ну что же. Там нет людей. Вы принесете там большую пользу...

Она пригнулась еще ниже над штопапьем.

— На два года... А потом все равно не отпустят. Немножко страшно.

— Ерунда,—ободряюще говорил он, но голос его звучал странно и глухо.—Поработаете и вернетесь... Но только зачем так далеко—в Казакстан?.. Я держусь того мнения, что в такую глушь следует посылать все-таки мужчин. Вот ведь, например, в Арктику женщины не посылают...

Она хотела встать. Он не пустил ее. Она немного удивилась.

— Что это значит, Смирнов?

— Видите ли,—вдумчиво сказал он,—мне нужно изложить вам кое-какие соображения... О Казакстане, о себе... словом, о многом. Расположены ли вы слушать? Возможно, я буду говорить бессвязно... Вот, в частности, о Казакстане...

Он замялся, потом кашлянул.

— Казакстан здесь, в сущности, не при чем... Разговор этот вас очень поразит, Ольга Сергеевна... Но что ж делать?.. Это, может быть, и мне совсем не так приятно, как пишут в книгах... Случилось одно событие, Ольга Сергеевна... то есть оно не внешне случилось, а во мне, внутренне... Очень смешно... Я сам удивляюсь и смеюсь...

Он говорил, гримасничая и фальшиво посмеиваясь, с какой-то истерической развязностью. Он чувствовал, что к нему не идет этот фатовской тон, что нужно говорить по-другому, другими словами. Внезапно смятение овладело им; он стал невнятно мычать, потом совсем замолчал. И лицо его и шея были густо красными.

— Я, кажется, догадываюсь,—несмело сказала Ольга.— Но в таких случаях догадываться рискованно. Можно попасть в дурацкое положение. Я уж лучше подожду, Смирнов. Когда-нибудь вы снова обретете дар членораздельной речи и скажете внятно...

И в ее тоне и в попытке проницательно ответить он почувствовал такое же смятение. Он осмелился взглянуть на нее. Ее ореховые глаза потемнели. Он зажмурился и набрал в грудь много воздуха, чтобы сказать все разом, без передышки. Ему казалось, что самое трудное—это произнести формулу. Остальные слова, подкрепляющие эту формулу, казалось ему, польются сами собой.

Он хотел помочь себе жестом и занес руку, чтобы в соответствии с ее падением произнести формулу. Но опустил он руку очень неловко: ничего не успел сказать, задел и уронил тяжелый альбом. Фотографии и пожелтевшие дагерротипы разлетелись веером. Он кинулся подбирать их. Не щадя наутюженных брюк, он ерзал по скользкому полу. Ольга ползала рядом с ним. Растерянный ее вид придал ему смелости; он нагнулся к ее уху и очень внятно, с неожиданной для самого себя легкостью, произнес формулу.

Испуганные и красные они сидели на корточках друг против друга. Первой опомнилась Ольга; она медленно встала, оправдала смятое на коленях платье и отвернулась. Она дышала часто и тяжело.

— Ольга Сергеевна,—сказал Смирнов, осторожно заведая ее рукой.—Я давно хотел сказать вам это... Но как-то не приходилось...

Он замолчал и долго смотрел вниз, на цветную обшивку дивана. Потом вдруг метнулся к столу и схватил фуражку. У дверей он приостановился. Лицо у него было бледное, растерянное. Он крикнул:

— Я нашел теоретическую ошибку. Я сейчас нашел ее, Ольга Сергеевна... Оля!

Он вернулся к дивану, присел, потом вскочил и, с отчаянием махнув рукой, вылетел из комнаты.

## 6

Лестница рокотала под его каблуками. На двадцать девятой ступеньке он оборвал свой стремительный бег. Железный прут перил начал медленно согреваться под его ладонью.

— Куда это вы так спешите, Смирнов?—спросил Сергей Александрович.—Уж не в лабораторию ли? Я слышал, что вы работаете ежедневно до поздней ночи.

— Почти ежедневно,—ответил Смирнов.—Я продолжаю опыты. Не бойтесь, я ничего не испорчу. Ваши наставления пошли мне впрок.

— Да?—криво усмехнулся Сергей Александрович.—Боюсь, что вы слишком даже хорошо усвоили мои наставления...

Не ожидая ответа и не прощаясь, он пошел дальше. Дверь захлопнулась за ним резко, сердито. Смирнов скривил губы и дернул плечом.

— Это уж просто глупо, так петушиться,—вслух подумал он.—Вдвоем посидеть нельзя. Подумаешь—надулся... И ведь—главное—не знает даже, о чем мы говорили... Может быть, о классиках марксизма?

За чаем Сергей Александрович, раздраженно покашливая и пофыркивая, сказал:

— Послушай, Ольга... Ты вообще умная, конечно...

— Спасибо,—насмешливо поклонилась она.

Сергей Александрович строго оборвал ее.

— Не паясничай. Иногда ты делаешь непростительные глупости. Непростительные и неприличные.

— Не помню таких,—ответила она.—Будь добр, говори конкретнее.

— Ну, вот хотя бы сегодня. Я встретил на лестнице Смирнова. Он был совершенно пуницовым... И ты не лучше... Я, конечно, не вмешиваюсь в твою личную жизнь...

— Пожалуйста, не стесняйся,—предупредительно сказала она.

Ложекка в ее пальцах описывала стремительные круги. Чаинки металась и падала в глубокую воронку.

— Я не знаю, чем вы здесь занимались. Ради бога не пойми меня дурию. Для этого ты все-таки слишком умна... Но во всяком случае...—Он замялся и пошевелил пальцами, подбирая нужное слово. Резко тряхнув головой, он сказал с горячностью:—Нет, ты скажи мне, Ольга, что ты в нем нашла?.. Бездарность, неуч, неотесанный парень!.. И к тому же, по всем признакам, не чист на-руку.

— Подожди,—решительно перебила Ольга.—Я думаю, что скоро ты сам расскаешься в сегодняшнем поведении. Ты невыносим сегодня; если бы ты всегда был таким, я бы давно ушла от тебя. Ты совершенно незаслуженно оскорбил сначала меня, потом Смирнова. Ты грубо и бесцеремонно вмешался в мою личную, самую что ни на есть личную, женскую, если хочешь, жизнь.

Она ушла, оставив недопитый стакан. Сергей Александрович, шаркая туфлями, медленно побрел в свою комнату.

Под окном играла гармоника. Теплое розовое небо лежало на облупленных крышах. Мальчишки, размахивая шапками, гоняли голубей. Облезлые коты хрипло мяукали в сточных жолобах.

— А почему я не могу думать по-своему?—вдруг рассердился Сергей Александрович.—Почему я должен безропотно отдать ему свою мысль, свое дело, премию, орден, если уж на то пошло! Даже при социализме творчество не будет обезличено...

Обида мешала ему дышать. Назойливые стариковские мысли томили его, хотя он и стыдился и гнал их. «Таков брат, вечный закон,—думал он, рисуя в блокноте круги и спирали.—Человек, в первую очередь особь биологическая, Ольга—тоже, и как таковой он ей нужнее, чем я. Ну и пусть. Ее дело. Она вольна в своих поступках, я волею тоже, и, клянусь, пойду на все, вплоть до мирового скандала, но не отдам ему своей краски!.. С Ольгой тогда придется порвать...»

Он подчеркнул этот мысленный итог, двумя линиями,—

толстой и потоньше. Линии странно выглядели на чистой, без букв, бумаге. «Ничего!—подумал он с напускной удалью,—проживу и один как-нибудь».

Он лег на диван и взял с этажерки книгу. Он читал сначала совершенно механически, прислушиваясь к шорохам в Ольгиной комнате. Он надеялся, что она придет к нему, слушал—не к дверям ли направляются ее шаги. Из гордости он притворился перед самим собой, что занят только рассказом.

Это был рассказ Лондона о старике, которого оставили умирать в ледяной пустыне с ничтожным запасом дров. Старик расчетливо, по одному, жжет поленья; вокруг—Белое Безмолвие, поленья медленно убывают, близится смерть. «Как нарочно»,—огорченно подумал Сергей Александрович, но оторваться не мог и с болезненной внимательностью прочел до конца суровый обнаженный рассказ.

Позвонили. Сергей Александрович встрепенулся, надел туфли. Ольга вышла из своей комнаты в переднюю и сейчас же вернулась. Сергей Александрович подошел к ее двери и осторожно постучал.

— Это приходили ко мне. С письмом,—ответила она.

Он постучал еще раз. Она мягко сказала:

— Не надо, папа. Мне не хочется видеть тебя.

— Хорошо,—коротко и сухо ответил он.—Спасибо за прямоту.

...Утром Ольга была с ним очень приветлива. Он отвечал сердечно, но сдержанно, чтобы показать, что он не так легко относится к размолвкам. Потом он решил пойти погулять. Ольга попросила его бросить в почтовый ящик письмо. Он взял конверт и сразу забыл о нем, как только вышел на улицу.

Он любил городскую весну, весну на камнях и асфальте. Она была точно рисунок пером с большой и пестрой масляной картины. Весна полей и садов казалась ему слишком буйной, даже грубоватой.

Он любил бледную прозелень акаций на богровой кирпичной стене, хруст дождя на железных крышах, когда капли разбиваются в пыль, в туман; ему нравился розовый по вечерам отсвет асфальта; он любил запах сырого кирпича, солнечный блик на железном столбе; любил даже белье, развешанное в палисадниках для просушки,—ветер полощет мокрые простыни, как тяжелые флаги.

Просторная чистая улица, сужаясь, убегала к вокзалу. Туго басил трамвай; он мчался, звеня и покачиваясь, рассыпая бледные искры. Мягко шпелестя шинами, стлались автомобили. Ветер шурша заворачивал углы афиш.

Сквер был полон. Сирень поблескивала лакированными листьями. Чирикающие воробьи дрались, пировали, женились и разводились тут же на ветках. На отдаленных скамейках сидели пары; женщины были все красивые и, никого не стыдясь, прижимались к мужьям и любовникам. Ребяшки играли в песке. Чинные няньки возили в колясочках розовых младенцев. Старик в мохнатом пальто продавал воздушные шары. Старик ходил по желтым песчаным дорожкам; шары плыли над ним, колыхаясь медленно и плавно, почти величественно. Минутный фотограф усаживал перед аппаратом пожилую дебелую женщину с букетом в руках; Сергей Александрович улыбнулся, представив себе снимок.

Почтовый ящик был наивно голубым. Слово «письма» не имело мягкого знака, который зато присутствовал в слове «вынимаются». Сергей Александрович, глядя на дерущихся в стороне мальчишек, протянул руку с конвертом к почтовому ящику. Он долго не мог нащупать щель—и взглянул. Конверт был обращен к нему лицевой стороной, он увидел адрес. Ольга писала Смирнову. Несколько секунд Сергей Александрович раздумывал, глядя на ее крупный и четкий почерк. Потом,—разжал пальцы. Конверт глухо ударился в железное дно: ящик был пуст.

7

Через два дня утром, когда Сергей Александрович лежал еще в постели, Ольга принесла ему серый казенный конверт.

— Полюбуйся, что пишет Смирнов,—торжествующе сказал Сергей Александрович.—«Мой самостоятельный опыт провалился так же блестяще, как и все предыдущие. Нет ли теоретической ошибки?»

— Над его словами стоит подумать,—ответила Ольга. Сергей Александрович махнул рукой.

— Пустяки говоришь. Теоретической ошибки нет, я ручаюсь за это. Есть случайная неудача в первый раз, когда мы работали вдвоем, и есть безграмотность Смирнова во второй раз, когда он работал один. Он не сумел реализовать совершенно готовую схему. Поразительная беспомощность!

Ольга направилась к дверям. Сергей Александрович остановил ее.

— Я сегодня же пойду в лабораторию. Всего на пять-шесть часов. С завтрашнего дня я опять поступаю в полное твое распоряжение.

— Ну что ж... Если нужно, иди,—ответила она.

Одеваясь, Сергей Александрович насвистывал марш Буденного. Это бывало с ним очень редко, в дни исключительных удач и радостей.

На лестнице Ольгу ждал Смирнов.

— Произвело желаемое действие,—сказала Ольга.—Горит восторгом и энергией...

— Все это—второстепенное, Ольга Сергеевна,—решительно ответил Смирнов.—Мы еще не говорили о главном.

Она немного побледнела и прижалась к витым железным перилам. Смирнов подошел к ней вплотную.

— Я невероятно счастлив, Ольга Сергеевна. Оля...

Закрыв глаза, она покорно ждала—очень долго. Сначала—испуганно, потом—недоуменно. Наконец—решилась взглянуть. Смирнов, повернувшись к ней спиной, внимательно читал какое-то объявление.

— Вниз,—услышала она его шопот.—Посмотрите вниз.

По лестнице поднимался доктор. Резиновый наконечник его палки, причмокивая, считал ступени. Ольга метнулась к Смирнову.

— Не оборачивайтесь. Он—близорукий, не узнает. Приходите в шесть.

— Я ненавижу доктора!—яростно шепнул Смирнов.—Чорт носит его по утрам!

...Доктор внял мольбам Сергея Александровича и позволил один день поработать.

Вдвоем они поехали на фабрику.

В лаборатории Сергея Александровича встретил Смирнов. Рассказывая о ходе опыта, он сокрушено покачивал головой и разводил руками. Сергей Александрович утешил его:

— Не унывайте, Смирнов. Теоретической ошибки нет, я за это ручаюсь. Вы просто немного зелены еще для самостоятельных работ подобной сложности. Краска будет нашей, поверьте мне.

Сергей Александрович еще вчера решил разговаривать со Смирновым, в угоду Ольге, как можно ласковее. Он боялся

только, что неприязнь помешает ему быть простым и искренним.

Сегодня он с удивлением и радостью обнаружил, что может без всякого притворства и натяжки говорить так же сердечно, как раньше. Еще утром, прочитав письмо с известием о неудаче, он простил Смирнову его дурные намерения и теперь умилялся собственному великодушию.

Смирнов подготавливал матерпалы. Сергей Александрович внимательно следил за его работой.

— Почему на этой банке нет ярлыка?— строго спросил Сергей Александрович.— Вот таким образом и возникают случайные неудачи.

— Ярлык только что отклеился,— ответил Смирнов, зажигая спиртовку.

Элементарный процесс кипячения не требовал контроля. Сергей Александрович отошел к окну.

Май уже проходил. Деревья роняли цвет. В садах через бело-розовую пену цветения сквозили черные сучья. Запах был гуще и тяжелее.

Пламя легко шипело.

— Можно начинать,— сказал Смирнов.

Сергей Александрович натянул сатиновые нарукавники, взял термометр, встряхнул его и внимательно осмотрел ртуть. На этот раз он хотел застраховать себя от всяких случайностей.

Поблескивающая стеклянная армия застыла, ожидая приказа.

Сергей Александрович спокойно двинул ее в сто одиннадцатое сражение.

— Начнем,— сказал он, опустив термометр в колбу.

## 8

В половине шестого Смирнов ушел, сославшись на какие-то неотложные дела. Сергей Александрович остался один.

Он вел опыт уверенно и спокойно. Торжество победы он ощутил заранее, и не залпом, как это бывает при счастливых неожиданностях, а постепенно. Наблюдая за развитием процесса, он думал о близком отпуске, о поездке в Курск на рыбалку, о странном и неприличном поведении своего помощника.

Его неожиданный уход удивил и обидел Сергея Александровича.

ровича. Может быть, Смирнову просто неинтересен результат совместной полугодовой работы? Это предположение было явно нелепым; Сергей Александрович без колебаний отверг его.

— Остается только одно объяснение,—вслух подумал он.—Но... неужели он в самом деле так мелочен и эгоистичен?

Сергею Александровичу казалось, что Смирнов ушел только для того, чтобы не видеть чужой победы, которую он пытался присвоить. Эта догадка и для самого Сергея Александровича была очень неприятной; он с готовностью отказался бы от нее, если бы мог объяснить неожиданный уход Смирнова какими-нибудь другими причинами.

— Человек есть прежде всего особь биологическая,—повторил он свою любимую мысль.—В борьбе за лучшее существование человек действует вне всяких моральных норм.

Ртуть поднялась к шестидесяти шести. Сергей Александрович опрокинул мензурку. Раствор порозовел и остался таким. Сергей Александрович довел температуру до точки кипения. Раствор не изменил своего рубинового тона. Карамельная краска из советских материалов была добыта.

— Вот и все,—сказал Сергей Александрович, рассматривая колбу на свет.

В окна лаборатории лилась такая же прозрачная рубиновая заря. Колбы, мензурки, трубки и змеевики—все эта стеклянная армия выстроилась перед Сергеем Александровичем, окровавленная, но победившая.

Сергей Александрович поставил колбу на стол. Раствор колыхнулся тяжело, как жидкое золото. Сергей Александрович с грустью повторил:

— Вот и все.

Раньше ему казалось, что этот конечный, коронный момент будет особенно торжественным, волнующим. Но теперь, как и всегда после окончания крупной работы, он испытывал только чувство полной внутренней пустоты. Он с недоумением, даже со страхом думал о завтрашнем дне. Краска уже добыта, нет нужды начинать новый опыт; поэтому и самый завтрашний день казался ему ненужным, лишним.

Сергей Александрович поморщился. Он знал, что это мучительное чувство пустоты, неустроенности, сожаления о бесполезно пропадающем времени будет сопровождать его до тех пор, пока он не начнет новой крупной работы.

А тогда начнутся новые мучения: сомнения в своих силах, ошибки, неудачи—и так без конца.

— Вечные мы страдальцы,—вздыхнул Сергей Александрович и прошелся из угла в угол.

Он ходил долго. Пол в лаборатории был зыбким, стеклянная посуда размеренно позвякивала. Часы показывали половину восьмого. Сергей Александрович остановился в растерянности: он почему-то не мог покинуть лаборатории. Его томило странное чувство неудовлетворенности,—точно бы он должен сделать что-то очень важное и забыл, что именно. Он сознавал, что это чувство ложно, и все-таки подчинялся ему.

Он обрадовался, вспомнив о тетради, в которую Смирнов заносил результаты предыдущих опытов. Он представил себе последнюю запись—крупными буквами—запись о победе; это сразу избавило его от мучительного чувства неудовлетворенности.

Он подошел к столу Смирнова и открыл ящик. Тетрадь лежала сверху. Он взял тетрадь и увидел под ней плотно заткнутую мензурку с рубиновым прозрачным раствором.

Трясущимися пальцами Сергей Александрович встряхнул мензурку. Раствор всколыхнулся тяжело, как жидкое золото. Сергей Александрович осторожно положил мензурку на стол и открыл ящик до отказа. На самом дне, под пачкой фильтровальной бумаги, он нашел конверт, надписанный крупным почерком Ольги...

...Сергей Александрович многое узнал из этого письма. Он узнал, во-первых, что Смирнов добыл краску еще три дня тому назад. Во-вторых, он узнал, что теоретическая ошибка была. «Поздравляю вас,—писала Ольга,—но должна сказать, что очень неприлично убегать в такие моменты от девушек, хотя бы и для исправления теоретических ошибок... Впрочем, вы правы,—гораздо важнее, чтобы немцы вместо двух миллионов выкусили фигу. Вы победили Гинденбурга, Смирнов, можете спокойно носить в кармане свой партбилет».

И еще Сергей Александрович узнал, что Ольге и Смирнову известны были все его самые затаенные мысли. «Старик, конечно, беспокоится. Это и понятно—каждому дорого свое открытие. Это—вполне законное чувство,—творчество никогда не будет обезличено. А в том, что он считает вас способным присвоить открытие, старика винить нельзя: он вос-

питывался в атмосфере бешеной конкуренции и рвачества. Потому он и смотрит на вас волком. Ему очень трудно понять, что вам не надо ни денег, ни ордена, что вы стараетесь только для того, чтобы немцы выкусили фигу. Не огорчайтесь, он помирится с вами, как только убедится, что вы не намерены отнимать у него честь открытия краски».

Дальше Ольга писала о сугубо личных вещах; Сергей Александрович не счел себя вправе читать письмо до конца.

Различные чувства волновали Сергея Александровича, но самым явственным из них был стыд, — самый обыкновенный, простой, человеческий стыд.

Сергей Александрович уложил обратно в ящик и письмо, и мензурку, и тетрадь (в которой он так и не сделал заключительной надписи).

Он шел бульваром. На песке лежали влажные тени деревьев. Все скамейки были заняты парами. Прямо пахло увядающей белой акацией. Над городом чугунно ревел невидимый самолет. Луч прожектора вставал голубым дымчатым столбом.

У калитки Сергей Александрович остановился. Ольга и Смирнов сидели на низенькой скамейке, под тополями. Сергей Александрович тихо — почти на цыпочках — прошел дальше, в душистую голубую мглу переулка.

Он гулял долго, даже устал. Часы показывали девять, когда он вернулся. Ольга и Смирнов сидели в прежней позе. Подумав, Сергей Александрович опять прошел мимо калитки.

Терпенья у него хватило только на полчаса. Возвращался он с нарочитой медлительностью, и даже немного рассердился, увидев под тополями белую блузку Ольги. Он громко кашлянул. В листьях сирени испуганно вспорхнул воробей. Смирнов и Ольга не пошелохнулись. Тогда Сергей Александрович кашлянул еще раз и сам испугался: звук был совершенно диким.

На соседней веранде кто-то засмеялся.

— Вас давят, что ли, гражданин?

— Просто пьяный. Блюет, — ответил сдержанный мощный бас.

Сергей Александрович открывал калитку с невероятным лязганьем и шумом. К скамейке он подходил сначала боком, глядя в сторону, потом почти пятясь. Смирнов и Ольга

вскочили. Добросовестно не замечая их смущения, Сергей Александрович сказал:

— Имею приятные новости. Расскажу за чаем.

...Смирнов поздравлял его с такой горячностью и искренностью, что Сергею Александровичу стало даже не по себе.

— Я считаю победу нашей общей победой, Смирнов,— сказал он, отвечая хитростью на хитрость и наслаждаясь этим.— Я считаю своим долгом передать вам половину всех привилегий.

— Оставьте, Сергей Александрович,— серьезно ответил Смирнов.— Я не намерен пользоваться плодами чужих трудов... А вот немцам вы натянули здоровый нос!..

— И вы,— упрямо ответил Сергей Александрович.— Если не хотите признать себя автором наполовину, признайте хоть на треть.

Смирнов отрицательно покачал головой...

...Прощался Сергей Александрович очень сердечно.

— Несколько дней тому назад я нехорошо вел себя по отношению к вам, Смирнов. Извините меня. Я умею устанавливать качественные различия химических составов, но устанавливать качественные различия поколений я, оказывается, не умею... Скажу вам по секрету, Смирнов, краска получена на сто одиннадцатом опыте, но в этот же день я проделал сто двенадцатый опыт... может быть, самый важный...

## ГЕРОЙ ТРУДА

### 1

Василия Сергеевича Крюкова, токаря депо, к первому мая перевели на полную пенсию и наградили званием героя труда. На следующий день он по привычке проснулся на рассвете, потянулся было к одежде, но вспомнил, что сегодня уже не надо идти в депо и так остался лежать в смутной полудремоте, не открывая глаз. Он слышал, как шаркала туфлями и звенела мелочью жена, собиравшаяся на рынок, вот она закрыла тонко скрипнувшую дверь, в комнате стало совершенно тихо. Чуть улыбувшись, Василий Сергеевич подумал: «Ну, вот и на покой, наконец... Тридцать восемь лет отбухал... Хватит».

Предутренняя тишина была ненадежной, тревожной; полежав несколько минут, Василий Сергеевич открыл глаза и приподнялся на локте. Постель жены—она спала на сундуке—беспорядочно свисала на пол,—от серого утреннего света и простыня и подушка казались грязными. Василию Сергеевичу подумалось, что будь постель прибрана, вся комната сразу стала бы светлее и уютнее и не так ясно выступала бы зеленоватая плесень в углах. «Вот фефела, вечно не приберет»,—с досадой пробормотал он, но сейчас же вспомнил, что и раньше жена убиралась поздно, и тогда неубранная постель не раздражала его.

Вытянувшись, он закинул руки под голову, поиграл мускулом и с удовольствием заметил, что мускул еще жесток, кругл и приятно трепещет под щекой. Так лежал он с час: с непривычки от долгого лежания по телу расходилась мутная неприятная истома, во рту было горько как с по-

хмелья. Пришла жена и вскипятила чай. Василий Сергеевич пошел в сенцы умываться, зажег лампу, а когда умылся,—сообразил, что светло и без лампы, и торопливо, чтоб не заметила огня жена, дунул в стекло и рукой разогнал белую струю вонючего дыма.

После чая жена ушла в школу—она работала там сторожикой. Василий Сергеевич подошел к окну. Оживленный утренний час прошел уже, улица была совсем безлюдной, перед окном в пыли лежал параличный соседский кобель с желтым брюхом и черной спиной и изредка, сонно чавкая, пытался поймать муху. Чуть скрипела дуплистая верба под окном; Василий Сергеевич вспомнил, как однажды, лет восемь назад, на городок ночью налетела ужасная буря—даже крыши с домов посрывало. В эту ночь он дежурил и, прислушиваясь к густому вою ветра, думал все время о своей вербе—выворотит ее буря или нет? Утром, увидев оголенные ребра крыш, он сказал табельщику:

— Ишь ведь что понаделало... Поди, и вербу мою выворотило у окна.

— Мудрено ли!—ответил табельщик.—Экой дико дуй налетел.

По пути домой Василию Сергеевичу несколько раз пришлось обходить поваленные толстые тополя, мертвенно голубевшие в изломах. «Ну, разве выстоит?»—думал он и криво улыбался, понимая, что со стороны такая тревога за какую-то вербу должна казаться очень смешной. И все-таки он облегченно вздохнул, завернув за угол: его верба стояла уверенно, гордо, только три ветви мертво сникали книзу, и ему показалось, что листья на них уже потускнели и начали вянуть. За сизым мясом лохматых туч пролетали прозрачные обрывки бледного неба, пахло радостной вяжущей горечью, было прохладно, чуть сыро, по-весеннему ветрено и тревожно. А верба гудела полно, мягко, омытые ночным дождем бледно-зеленые ее листья просвечивали насквозь... Много ли—всего восемь лет прошло, а стала гордая верба дуплистой, приземистой, в землю растет...

Василий Сергеевич приоткрыл форточку. Дул ветер. По улице стлались тонкие струйки пыли. Донесся волнистый бархатный гудок на завтрак. Раньше гудок этот был очень пронзительным, и доктор из больницы пожаловался начальнику депо: беспоконт больных. Гудок залили бабитом, и он приобрел чудесный бархатный тембр.

К толстому и вязкому его вою примешивался какой-то слабый посторонний звук; Василий Сергеевич сначала подумал, что поет в тон гудку плохо пригнанное оконное стекло, но, вслушавшись, понял, что пищит у него в груди от дыхания.

Неловко повернувшись, он задел стол; посуда задребезжала. «Не убрала, фефела»—рассердился он, подумал минутку и начал мыть посуду, очень крепко сжимая неожиданно скользкие чашки и блюдца. Одно блюдце—такое знакомое, с отбитым краешком,—все-таки выскочило, и он поймал его на лету. «Фу, чорт,—усмехнулся он, прижимая руку к сердцу, которое с хрипом задержалось.—Фу, чорт! Из-за блюдца как напугался». Вспомнилась ему старая сказка о том, как мужик с бабой поменялся работой, а вечером запросил пARDону. И с нежностью он подумал о своей жене, что вот она и по домашности работает и службу несет.

Вымытую посуду он аккуратно составил в шкаф, потом вынул обратно, смел с полок крошки, постелил свежие листы газет и опять все поставил на место. Потом щеткой снял паутину с потолка, прибил к полу отходившую доску, завел часы и сел на кровать, соображая, что бы еще сделать по домашности. Старые облезлые часы хрипло с надрывом пробили одиннадцать. «Кончился завтрак»,—подумал Василий Сергеевич. В депо на завтрак все собирались у верстака, и Ванька Трусов, молодой парень, только в прошлом году окончивший фабзавуч, потешал всех разными чудными рассказами. «Он от природы насмешник»,—улыбнулся Василий Сергеевич, вспоминая, как передразнивал его Трусов, кряхтя и скрипя за станком.

Высунувшийся из-под шкапа запыленный кусок газеты привлек внимание Василия Сергеевича. «Хламу, наверное, накопилось. Убрать»,—решил он и принялся старательно выгребать щеткой мусор. Вместе с сором он выгреб заряжавший болт, который точил уже давно для дверной щеколды. Склонив набок голову и критически прищурив глаз, он долго рассматривал мутно-оранжевый болт, хотел сейчас же приняться за устройство щеколды, но не нашел гайки. Тогда он собрал на совок весь мусор, сверху положил болт и, наклонив совок над ведром, внимательно наблюдал, как вытягивается в одну сторону правильная коническая горка мусора. Пыль осыпалась с сухим шипением, вот и болт глухо звякнул о стенку ведра.

— Старье... хлам,—сказал Василий Сергеевич, копнул совком мусор и неожиданно для себя задумчиво добавил:

— Как и я...—и сам испугался своих слов.—Как и я,—повторил он и замер в темном углу с совком в руке, точно эти простые и обыденные слова «как и я» вдруг лишили его возможности двигаться.

Вчера вечером, когда председатель месткома и секретарь ячейки говорили речи о старых бойцах на трудовом фронте и о смене,—Василию Сергеевичу ни разу не пришла мысль о старости, о том, что начали руки дрожать и заволакиваются слезой глаза. Ему было очень приятно, когда все захолопали в ладоши, увидев грамоту о награждении званием героя труда, оркестр играл туш, Ванька Трусов изо всей силы бил в литавры и барабан, ярко и тепло сияли электрические лампы, в переднем ряду растроганная жена вытирала уголком платка глаза...

— Ну и правильно,—вслух подумал Василий Сергеевич, вешая совок на обычное место.—Поработал и хватит... Не плохо поработал... Зря героя не дадут... Машинка, и то снашивается. Станок-то мой, и то поди выбросить давно пора.

Он работал на одном станке уже двадцать три года, станок разболтался, рахлябался, но когда в прошлом году инженер вздумал его выбросить, Василий Сергеевич страшно раскричался, пошел в местком и к начальнику депо.

— Такими кусками прошивыряешься!—бранчиво кричал он.—Да это—немецкой станок. Нынче-то и делать таких не могут!

Инженер уперся. Василий Сергеевич в глубине души и признавал, что инженер прав: станок—старой конструкции, цепной, лязгает, скрипит и жрет вдвое больше энергии. Но это сознание правоты инженера почему-то еще больше усиливало страшную непонятную обиду.

— Принципы все,—задорно кричал он в ответ.—Давай попробуем! Кто у вас лучший токарь-то!

Ему дали нарезать ленточную резьбу для тисочного винта. Резьба вышла на славу. Гайка шла в притирку—не туго, но и без всякой качки. Инженер вынужден был сдаться, потому что другой токарь на новом нортоне сделал хуже, а времени потратил больше.

— Не трогайте его,—сказал начальник депо.—Он со своим станком ровесник, вот и жалко расстаться ему.

Василий Сергеевич торжествовал. Он знал, что кроме

него никто не сможет работать на этом станке: расхлябан зажим у суппорта и под резец надо подкладывать пластинку, чтоб не дрожал и не заедал. А кроме того погнут ходовой винт, и когда суппорт доходит до этого места,—надо вручную подать резец, немного назад, иначе работа будет неминуемо испорчена. На новых американских нортонх, конечно, веселее работать: не нужно возиться со сменой шестеренок, с цепью. Но Василий Сергеевич никак не мог представить себя за нортонх, словно и существует он только до тех пор, пока существует его старый разболтанный станок.

Этот мутно-оранжевый болт, который лежал сейчас в помойном ведре, точил Василий Сергеевич на своем станке... И только сейчас он ясно понял, что и сам совсем уж стар и окружают его все такие же старые вещи: и эти хриплые облезлые часы и дуплистая верба под окном: когда-то и в бурю она выстояла, а скоро сама рухнет под тяжестью собственных листьев.

— Значит, в помойное ведро... Заржавел,—сказал он колючим и сухим голосом.—Не годится больше Василий Сергеевич.

Он понял, что уже вчера вечером на собрании и сегодня утром боялся, как бы не пришла ему в голову такая простая и беспощадная мысль, а она уже таилась в нем, и он, как ребенок, непрерывно облизывающий обрезанный палец, чтоб не видеть только крови, прятал от себя эту мысль. И посуду он мыл и паутину снимал только для того, чтобы думать о чем-то другом, отдалить, заглушить простую и страшную мысль. Медленно и отдельно, точно разыскивая в каждой букве какой-то большой и сокровенный смысл, он повторил:

— Заржавел...

Тикали облезлые часы,—в них по временам что-то шипло, стонало, словно кашлянуть хотят они и никак не могут. Это впечатление, что часы хотят кашлянуть, было настолько ясным, что у Василия Сергеевича защекотало в горле, и он тихонько в кулак кашлянул. Скрипела ровно и безнадежно верба под окном: качнется в одну сторону—скрипнет тонко, словно извиняется, что не может сдержаться и не скрипеть, качнется опять—и снова скрипнет... Верба скрипела даже в безветренные дни.

Василию Сергеевичу стали совершенно невыносимы и над-

рывный хрип в часах и ровный тонкий скрип вербы. Он почему-то на носках, словно крадучись, вышел из комнаты, беззвучно закрыв за собой дверь. Отдавая соседке ключ, он сказал с деланой беззаботностью:

— Погулять пойду...

И опустил глаза, опасаясь, как бы соседка не догадалась, куда он в самом деле идет.

## 2

В депо никто не удивился его приходу. Выслушивая поздравления, он всем отвечал одними и теми же словами, с одинаковой улыбкой, и с этой же улыбкой выругался матерно, когда его ушибла вагонетка. Рябой незнакомый парень с плоским, полосатым от нефти лицом заорал:

— Чего лаешься?.. Шляются здесь!..

Василий Сергеевич хотел огрызнуться, но внезапно ему почудилось что-то хозяйское в окрике парня; он сжался и миролюбиво забормотал:

— Ну, ладно, ладно тебе... Знаешь—поговорка у нас такая...

— Поговорка-а-а,—растерянно усмехнулся парень, ожидавший ответной ругани.

Василий Сергеевич отошел к стене: чтоб не мешать... «Да что ты боишься!—вдруг возмутился он.—Ты что—посторонний, что ли, дурак старый!»

Депо грохотало, лязгало, звенело; он ясно различал в этом смещении храпа и грохота и сырые удары парового молота и скрип лебедок, подающих к станкам для обдирки вагонные скаты. И он слышал даже—это не казалось ему, а он слышал—легкое шипение въедающихся в металл резцов. Он долго стоял у стены, жадно впитывая все эти звуки и привычный, чуть кислотоватый запах свежесрезанного железа. Смутно чувствовал он какое-то беспокойство, неудовлетворенность и не хотел признаться себе в том, что ему непреодолимо хочется осязать холодность рычагов и ласковую теплоту какой-нибудь только что обточенной втулки. Как будто невзначай он приложил руку к стойке, поддерживавшей потолочные балки, через несколько секунд руку опустил; он привык чувствовать живую холодность напряженно трепещущих в работе рычагов, а в мертвой стойке не было этого трепета. Прижимаясь к стене, он по-

шел в конец цеха, где стоял старый его станок. За станком он увидел своего заместителя—Ваньку Трусова. Станок гудел не так ровно и низко, как раньше, а с каким-то хрипением и треском. «Цепь не смазал»,—подумал Василий Сергеевич, наблюдая, как на матовой поверхности стремительно вращающейся втулки озорно елозит солнечный луч. Чтоб не обращать на себя внимания, он спрятался за доску с объявлениями, откуда было особенно удобно наблюдать за работой Трусова. И он уже не мог скрывать от себя того, что это противное и сосущее его изнутри чувство—просто обίδα и зависть к Трусову, этому мальчишке, который стоит на его месте и может—и даже должен—ощущать и холод рычагов и теплоту втулки. Чуткий и привычный слух Василия Сергеевича уловил, что резец шипит не по-обычному, с каким-то надрывом, словно тупой нож, рвущий сухожилия в старом мясе. И Василий Сергеевич понял: ходовой-то винт в одном месте погнут и прижимает резец вперед больше, чем надо, стружка идет кусками, надламываясь... В этом месте надо резец подать немного назад.

Трусов стал точить новую втулку; он не знал, что под резец следует подкладывать пластинку, опять надрывно хрипел и ломал стружку резец. Василий Сергеевич инстинктивно провел рукой по щеке: он знал, что поверхность втулки получается такой же шероховатой, как и позавчера выбритая щека. Озлобленно выругавшись, Трусов сразмаху остановил станок. Василий Сергеевич с холодным злорадством ухмыльнулся: пусть попрыгает... не лезь на чужое место, раз не знаешь... стариков выгнали, а сосунки вам наработают... наработают...

Напротив висела стенгазета «Паровозник». «Слався великое Первое мая»—выведено было красным по зеленому фону. Василий Сергеевич, опасаясь, что Трусов увидит его и позовет на помощь, отошел к стенгазете. В самой середине серого листа приклеены были две фотографии: Василия Сергеевича и кузнеца Федота Жирнова, то же выпущенного на пенсию. Василий Сергеевич на карточке почему-то вышел моложе. Под фотографиями были стишки Ваньки Трусова (он баловался стишками):

Привет, привет вам, старые герои,  
Прошли вы честно путь свой трудовой,  
Спасли Республику в тяжелое вы время,  
Среди боев и бури гровой.

Когда враги Республику терзали,  
Точили вы болты уверенной рукой.  
И за станками вы Республику спасали.  
Спасли. Пора теперь вам на покой.  
Устали вы. Среди разрухи, фронта  
Вы не хотели часу отдохнуть.  
С рассвета до ночи вы молотом стучали,  
Пускали паровозы в путь.  
Благодарим, товарищи. Вас не забудут.  
Пройдут века. Потомок скажет: вот  
Кто спас Республику руками—  
Василий Круков и Жирнов. Федот...

*Из Трусов.*

Василий Сергеевич внимательно перечитал стихи два раза. Первый раз они показались ему что-то трудными для понимания (он никогда не читал стихов и не привык к ним). Но, перечитывая во второй раз, он понял стихи и был увлечен неожиданно плавным и красивым их звуком.

— Точили вы болты уверенной рукой... — задумчиво повторил он. — Среди разрухи, фронта...

И он ясно вспомнил те годы, о которых писал в стихах Трусов: и тиф, и голод, и фронты, и расстрелы. Сын его дрался тогда с Деникиным и изредка присылал домой письма. В последнем письме он утешал отца: «...и скоро, папаша, когда мы побьем золотопогонных гадов, у вас в депо будет и сталь хорошая для резцов, так что потерпите и поработайте для народа плохой из рессор, хотя вы пишете, что очень трудно, все время ломаются...» После этого письма сына убили. Василий Сергеевич вспомнил, как в этом депо не было ни дверей, ни окон, гулял зимой злой и пронзительный ветер, заносило снегом станки, прилипали руки к железу и по утрам приходилось отогревать в подшипниках застывшее масло. Тогда однажды сосед по станку токарь Осип долго не мог разогреть подшипники, вдруг сразмаху хватил примусом об пол и сдавленно закричал:

— Ребята! Машина отказалась! Ребята, конец!

Его увезли в больницу. Потом узнали, что он уже неделю болел сыпняком. В последний день работы у него было сорок и четыре, и он потерял рассудок. В больнице он умер и до смерти все кричал:

— Машина отказалась! Ребята! Отказалась!

В депо с «кладбища» привозили предназначенные на слом паровозы, чинили, подновляли их, собирали из пяти паро-

возов один—разболтанный и расхлябанный. Особенно запомнился Василию Сергеевичу день, когда ему на работу принесли известие о смерти сына. Был ужасный мороз, сторож жег прямо в депо на листе железа костер, рабочие отогревали около костра заочевенные руки. По городу гудела густая поземка и залетала через зияющие провалы окон в депо. Василий Сергеевич точил клапана для вестингауза— работа тонкая и ответственная. Меди не было, и клапана приходилось точить из железа, стали для резцов то же не было, и перековывали старые рессоры. Резцы из рессор никуда не годились, ежеминутно их приходилось заправлять. Тогда еще кто-то придумал закалять резцы в соли, и все носили с собой в коробочках соль, хотя мастер и уверял, что это только кажется, будто резцы работают лучше. Вместо стали ставили на паровозы чугуи и железо, от этого приходилось ремонтировать паровозы непрерывно: чугуи крошился, а железо стиралось. Так вот в тот день Василий Сергеевич точил клапана, подошел секретарь ячейки и тихо сказал:

— Василий Сергеевич... Письмишко есть... Сыночек-то твой...

— Ну-у-у? Когда?—глухо спросил Василий Сергеевич, почувствовав тело совершенно легким, как пузырь.

— В бою! Геройски! За власть советов!—очень уж звеняще выкрикнул секретарь и быстро ушел.

И сразу наступила тревожная и тугая тишина,—только визжали негодные резцы о негодный материал да низко и злобно гудела поземка и заносила в разбитые окна колющую твердую крупу. Василий Сергеевич подошел к костру и долго стоял, уставившись в бледножелтое, тусклое при дневном свете пламя. Потом он зачем-то потрогал себя за морщинистую щеку, в которую, казалось, навеки въелась железная пыль, подошел опять к станку и стал точить клапана...

Все это пронеслось перед ним мгновенно, такой же мгновенной была боль, сдавившая сердце при воспоминании о сыне. Он вздохнул и внимательно осмотрелся. Новые портоны постукивали весело и ладно, лебедки цепко хватили за горло вагонные скаты и поднимали их, беспомощных, как раскоряченные котята, под самый потолок, за чистыми застекленными окнами гудели и шипели паровозы, не такие, как тогда, а самые лучшие, новые паровозы. И Василию Сергеевичу удивительно стало, как же до сих пор не замечал он этих огромных перемен. «Это как у своего дитё росту

не замечаешь», — подумал он, и сердце его на секунду сжалось и екнуло.

Тем временем Трусов, весь потный, зло сцепив челюсти, пустил станок на полный ход. Стружка летела со звоном, кусками, станок весь дрожал, и Василию Сергеевичу казалось, что эта дрожь передается по каменному полу и мелко встряхивает его тело, как в заторможенном вагоне. Резец с тусклым звоном лопнул. Под ноги Василию Сергеевичу покатилась, глухо постукивая на неровностях пола, отброшенная Трусовым четвертая испорченная втулка. Он поднял ее еще теплую и, любовно сжимая всей ладонью, подумал: «Эх, сталь-то... Золото—не сталь!»

Он осторожно, словно по ранам, водил пальцем по зазубринам и выковыринам, стараясь разобраться в нахлынувшем на него совсем новом чувстве. Это была не та обида, которую испытывал он, увидев Трусова за своим станком; ему необычайно больно и жалко было видеть испорченный кусок такой превосходной стали и перелетевший пополам резец из дорогого самокала. Он вспомнил, что испытал немного сходное чувство в прошлом году, когда кто-то из гостей прожег папирсой его новый шестидесятирублевый костюм. Он тогда, рассматривая дырочку с желтым спаленным ободком, бормотал:

— Полмесяца работал, а в секунду кто-то сжег...

Но смотреть на втулку было почему-то гораздо обиднее, чем на испорченный костюм. Он дохнул на серебристо-блещущую сталь; вытер ее рукавом. Поджав губы, подошел к станку и тронул Трусова за плечо. Тот быстро обернулся и приветливо охнул. Но Василий Сергеевич не дал ему говорить и с видом неумолимого судьи протянул испорченную втулку.

— Елова голова, ты что сталью-то расшвырялся?..

— Станок твой, — начал смущенно оправдываться Трусов.

Василий Сергеевич прервал его.

— Что станок... Руки корявые, а не станок... Ты вот стишки про Республику пишешь, а сталь швыряешь? Думасшь, в Республике стали много?.. Мы ее, может, горбом наживали—сталь эту. Может, я сына за нее отдал?.. Ты об этом-то думал? Ты вот тринадцать лет назад без штанов бегал, а я тут в пустом депе железом по чугуну работал, а?.. А ты швыряешь?!

Ему понравилось смущенное молчание обычно бойкого

и находчивого Трусова, и он минут пять отчитывал его, неохотно сам себе признаваясь, что эти едкие и обидные слова относятся не только к Трусову, но и к нему самому, что и сам он, Василий Сергеевич, не научив Трусова, виноват в том, что испорчен кусок такой великолепной стали.

— Смажь цепь,—решиительно сказал он.—Вы все на новеньком привыкли работать... Нет—ты на стареньком пользу дай. Смотри сюда. Видишь... Погнут... Ходовой-то винт... Ну, понял, почему портил? А пластинка под резцом где?.. Вот как надо—смотри.

Зажав в центра поковку, он установил резец, подложив под него пластинку, чтоб не дрожал и не заедал. Потом, немного волнуясь, медленно двинул туго трепещущий рычаг. Легко, как в масло, въелся резец в металл. С мягким влажным шипением пошла витая гладкая стружка и спустилась, перевиваясь, до самого пола. Станок гудел ровно и бархатно, напряженно, с легким звоном, трепетал в руке рычаг.

— Сталь мягкая, должно брать ее легко,—поучал Василий Сергеевич.—А вот здесь, смотри, заметка. Надо назад... Смотри.

И медленно, плавно, сам наслаждаясь своим искусством, подал резец назад.

Выточив втулку, он тщательно промерял ее кронциркулем, погладил, хотя и так был убежден в чистоте работы, и сказал гордясь:

— Видал. Без задоринки—как яичко. Вот так и работай.

Наблюдая за работой Трусова, он поглаживал жесткой рукой станок, как вспотевшую добрую лошадь. Он чувствовал прилив покровительственной нежности и к станку, и к Трусову, и ко всему грохочущему депо, словно бы он, Василий Сергеевич, такой большой хозяин, и его все любят, и он всех любит, и радостно всем работать, вдыхая кислородный запах взрезанного металла. Чему-то сокровенно улыбаясь, он пошел к выходу; шел он не таясь, по самой середине, одобрительно похмыкивая. Его нагнал парень с вагонеткой и заорал с озорством еще издали:

— Тудыт твою мать, старик! Опять мешаешь, шляешься.

— Не ори,—спокойно и внушительно ответил Василий Сергеевич.—Глотку-то поубавь. Молод еще, чтоб на хозяев орать.

И уверенно пошел дальше, а парень, не сумевший понять его слов, удивленно приоткрыв рот, долго смотрел ему вслед.

## ОТЕЦ

Над сырой землей гудит весенний неровный ветер. Он проносится над развороченными полями, над садами, залитыми бело-розовой пеной цветения, он рябит мутную воду рек и сотрясает кирпичные трубы заводов. Он пахнет сразу яблоневым цветом, тающим льдом, водорослями и дымом.

Перегоняя ветер над железнодорожной насыпью, летит гулкий звук Петиней трубы. Подняв верх блестящее ее горло, Петя смотрит на маленькое длинное облако— вот наплывает оно на самое солнце, становится золотым, прозрачным, потом исчезает совсем, а на смену ему плывет новое облако— уже не длинное, а круглое и с хвостиком, похожее на прописную букву «д».

Петя трубит. Он так привык к своей трубе, что умеет различать ее голос утром, днем и вечером. Утром голос трубы бывает легким, отточенным, и кажется, что от ее тугого пения где-то вверху с тонким стеклянным звоном трескается прозрачный, плотный воздух. Днем труба поет сурово и сухо; негулкий звук с отчетливым щелканьем отскакивает от каменных стен и заборов. А вечером звучит она полно, мягко, густой и влажный голос медленно отплывает за тополя, за туман, за сады, может быть даже за реку...

Вожатый Саша кричит с террасы:

— Будет тебе, Мельников! Перестань!

На ходу заканчивая последний перелив, Петя идет в комнату, вешает трубу на гвоздик и деловито спрашивает:

— Плакаты делать будем?

Саша достает из шкафа цветную бумагу, картон, клей и краски. В комнату с шумом вваливается десяток пионеров.

Картон, бумага и краски мгновенно растаскиваются по углам. Петя берется за перочинный нож. Толстый картон режется плохо, хрустит и задирается. В комнате тихо—все увлечены работой. По окнам шумит клейкой молодой листвой тополь, на полу и на стенах трепещет зыбкий теневой узор. Сторож Потап Иванович шаркает сапогами около запертой двери, потом осторожно стучит.

— Нельзя сюда, — сердито отвечает вожатый Саша.

— Да мне кочергу только. Печи истопить. Сырость, — доносится простуженный голос Потапа Ивановича.

Дверь приоткрывается ровно настолько, чтоб могла пролезть кочерга. Потап Иванович уходит—и снова тихо в комнате, и слышно даже через двойные рамы, как густо гудит в голых сучьях весенний неровный ветер.

Пионеротряд имени Марти готовился к походу в депо, против лодырей и прогульщиков.

Пионеры по уши залезли в работу. Нужно было нарисовать плакаты, лозунги, разучить песни и приготовить спектакль. Пьесу сочинили сами и намеревались поставить прямо в депо, без декораций. Участвовали в пьесе два прогульщика, один рвач, один пьянца, целая бригада ударников и пионер-трубач. Последнюю роль выдумали специально для Пети. Роль была без слов, и Петя сначала обиделся, но ребята уверили его, что при старании можно выговаривать слова и трубой. «Долой прогульщиков, долой, долой!»—мысленно повторял Петя всякий раз, когда репетировал на трубе; прислушиваясь к ее голосу, он, как и все остальные ребята, слышал эти слова совершенно отчетливо. Он даже удивился, когда однажды отец на вопрос: «что говорит труба?»—пожал недоуменно плечами. Очень уж ясно слышались эти слова!

Петя вырезал из картона огромную бутылку, наклеил с обеих сторон красных бумажных человечков, покрыл все жидкими белилами и тупью крупно написал: «40°». Издали бутылка была похожа на настоящую, стеклянную, в которую засунут красный сморщившийся человечек. Саша подрисовал пробку и вынес плакат на террасу сушиться.

Домой Петя возвращался поздно—уже выступили на небе редкие крупные звезды, над каланчой навис месяц—он виделся сквозь тонкий туман мутно, как через отцовские очки. Петя подобрал полы слишком длинного пальто, перебрался

по шаткому гнилому мостику через канаву и подошел к своему окраинному домику. В освещенное, чисто промытое окно видна была вся передняя комната: мать что-то готовила на кероснике, отец, наморщив по привычке лоб над очками, читал газету.

Петя стукнул два раза в дверь. Послышались частые, торопливые шаги матери. Откидывая крючок, она по привычке спросила «кто?», хотя отлично знала, что пришел Петя.

— Иди ужинать, полунощник,—ласково сказала она.

Петя понял, что его не будут ругать за позднее возвращение, и сразу подбодрился.

— Пришел, коммунист!—загудел отец, наклоняясь над ним. Был отец огромным, тяжелым; от одной только его близости Пете стало тепло.—Пришел, коммунист полунощник! Не ленись, почитай-ка газетку. У меня глаза устали.

— Дай поесть-то ему!—закричала из кухни мать, с грохотом отодвигая заслонку.

Петя потянул носом и проглотил слюну.

— Опять не обедал?—гудел отец и терся о Петино лицо небритой щекой.—Это зря, брат ты мой, командрат! Обед, брат, первое дело. Не пообедаешь, так и не поработаешь. Хоть бы на часок забегал.

В комнате было очень тепло, белели вымытые полы; от них исходил знакомый с самого раннего детства чуть затхлый и едкий запах простого мыла. Над столом, около облупленного старого радиоприемника, веером расположились пожелтевшие семейные фотографии, цветные открытки и портреты вождей. Васькино блюдечко стояло у порога; колыхалась от теплого воздуха ситцевая пестрая занавеска над русской печью.

— И чего это они делают до поздней ночи там?—соболезновала мать, вытаскивая тарелки и ложки. Темный ее платок сбился, и на сухую желтую щеку упала седоватая прядь. Прижимая широко растопыренной ладонью к груди коровы и скрипя тупым ножом по корке, она отрезала горбушку и положила ее перед Петей.

— Зря и горбушку для тебя, полунощника, сберегла. Ну, скажи, учишься вы там или играете? Что вы там делаете до поздней ночи?

Петя молчал. Вся подготовительная к походу работа проходила в строгой тайне. Участникам даже было запрещено разучать дома роли, чтоб не возбудить подозрений взрослых.

— Секрет у него,—ответил отец, положив жесткую тяже-

лую руку на стриженую Петину голову.—Ты там с барышнями гуляешь, поди, а?—захохотал он. От его хохота задрожал пол и задребезжали стекла в окнах.

Часы бьют десять.

— Спать, — решительно говорит отец, с грохотом отодвигая массивный дубовый стул.

Петя покорно идет к постели. Мать встряхивает подушку и кладет на нее свежее белье.

— Бесстыдник, — ворчит она.—В бане две недели не был. Четвертый раз белье меняешь. Одевай чистое на грязное, толку-то чуть...

Отец наставительно добавляет из-за перегородки:

— В баню, Петро, ходить надо. Слышишь, коммунист, надо. А то запаршивеешь весь, брат ты мой, командрат.

Петя слышит тяжелое сопение отца, снимающего сапоги. Вот они с грохотом упали на пол. Мать перебегает на цыпочках комнату и тушит лампу. И комната сразу становится голубой и незнакомой; дальний угол тонет в темноте, кажется, что угла этого и нет вовсе: стены несомкнуты, и за ними начинается прямо ночь. Поднимается мышья беготня, — раньше, когда только что переехали в эту квартиру, Петя боялся ее, а теперь привык и не обращает внимания. Он лежит на спине и смотрит в синее от луны окошко, вспоминает, как намазали сегодня Андрюшке химическими чернилами нос, и широко улыбается. Воспоминание это не уходит, всплывают все новые и новые, очень смешные подробности. Петя тихонько хихикает, зажимая ладонью рот.

Осторожное поскребывание доносится до его слуха. Он поднимает голову и видит в окне какую-то тень: сердце его стремительно падает, как при полете в воду с большой высоты. Но уже в следующую секунду Петя успокаивается, узнав рыжего дармоеда Ваську. Петя встает, открывает форточку; с ласковым коротким мурлыканьем кот мягко прыгает на пол, в самую середину лунного пятна и долго вылизывается, вытягивая то одну, то другую ногу. Васька хоть и дармоед—мышей не ловит, зато никогда не прыгает грязный на постель, и мать очень ценит его за это.

Вылизавшись, он с тем же ласковым коротким мурлыканьем забирается под одеяло и устраивается у Пети на животе. Петя перекладывает его к стенке; кот доволен и новым местом, мерное его курлыканье стихает, он начинает посапывать совсем как человек.

Обласканный его пушистым прикосновением, засыпает и Петя.

Митинг был назначен на пять часов, как раз к моменту окончания работ в депо. Сейчас же после чая Петя сбежал из дома в клуб. Там нашел он почти всех участников похода.

— Опять наследили. Да разве наубираешься за вами! — ворчал Потап Иванович, шаркая валеными сапогами.

— Пьесу давайте повторим, — предложим истомившийся Степа.

Он играл бригадира-ударника. Его монолог, завершавшийся звуками Петинной трубы, служил одновременно и началом митинга. Так придумал Саша, и все пионеры нашли выдумку блестящей.

Начиналась пьеса выходом Андриюши, — он изображал пьяного и очень старательно шатался из стороны в сторону. Нос его, намазанный химическими чернилами, еще отливал синевой; говорил он сиплым басом; для баса, порой, не хватало дыхания и Андриюша срывался на придушенный шопот.

Потом появлялись прогульщики, здоровались с Андриюшей и, взяв его под руки, направлялись в пивную, захватив по дороге и рвача, хваставшегося своими заработками. Но у самых дверей встречали эту компанию ударники; сначала они, делая вид, что не замечают прогульщиков, говорили между собой о достижениях, потом окружали прогульщиков, начинали их ругать, наконец Степа влез на стул и, разрубая правой рукой воздух, произносил свою призывную речь. Петя стоял с трубой наготове, ожидая слов «да здравствует». Так было и сегодня. Все на зубок знали свои роли, и труба выговаривала слова: «долой прогульщиков, долой!» яснее, чем обычно.

В половине пятого пришел Саша.

Выстроив ребят, он негромко подал команду. Трубить и выбивать дробь на барабанах он запретил, желая, чтоб отряд появился в депо совсем неожиданно.

С утра прошел несильный дождь, — блестел обмытый желто-красный булыжник, воздух был маслянистым и горьковатым от запаха молодой листвы. Синели застывшие между камнями лужицы, ветер обивал отцветавшую яблоню. Петя шел в первых рядах и думал — увидит его на митинге отец или

нет. Очень хотелось, чтобы увидел; это желание давно мучило Петю, и он как-то раз чуть не предупредил отца, но сумел удержаться.

Отряд вышел на линию. Вдаль убегали отшлифованные ленты рельс. Скрипел под ногами хрусткий желтый сырой песок. Над линией стоял влажный лязг буферов. Маленький маневровый паровоз—«кукушка»—шнырял по стрелкам, составляя и расталкивая вагоны. Ветер гнул к земле черный столб дыма, валившего из трубы; дым был таким густым, что Пете хотелось его ощупать. И казалось, что на ощупь будет он теплым и пушистым и, может быть, даже заурчит так же, как Васька-кот.

Саша остановил отряд на паровозном кладбище, за старым, снятым с осей пассажирским вагоном. До конца работы оставалось минут десять. Пионеры проводили Сашу в местком и уселись на рельсы, переговариваясь вполголоса. Степка нервничал, хоть и старался казаться беспечным, ничуть не думающим о выступлении. Петя шепнул ему ободряюще:

— Ты только громче. Чтоб все слышали.

— Знаю сам,—неожиданно рассердился Степка.

Скоро пришел Саша в сопровождении какого-то человека с папкой.

— Месткомский секретарь Томилин,—шепнули Пете.

— Ну, готовься, ребята,—вполголоса сказал Томилин.

Взвыл гудок. Густой его рев сотрясал землю. По движению губ Томилина Петя угадал слово «пошли». Саша так же беззвучно, одним движением губ подал обычную команду, и отряд двинулся.

Томилин влез на груженную скатами платформу и, дождавшись конца гудка, крикнул:

— Товарищи! К нам пришел наш железнодорожный пионерский отряд!..

Несколько рабочих прошли, не слушая, дальше, трое задержались, к ним присоединились другие, и скоро перед пионерами стояла густая толпа. Задние—заметил Петя—вставали на цыпочки и вытягивали шеи. Кто-то крикнул:

— Давай, ребятнишки, не робей!

Саша легко подтолкнул Андриюшку. Тот зашатался и заговорил сильным голосом, вытащил из кармана бутылку, наполненную водой, незаметно, подковырнул пробку пальцем и потом лихо вышиб. В середине своего монолога он стал пить из бутылки, но по неопытности заткнул горлышко языком,

а когда сразу отнял язык—хлынувшая вода облила и подбородок и рубаху.

— Не умеет,—сочувственно заметил кто-то.

Андрюшка мужественно дыл, рубашка его потемнела и замокла. Петя поежился.

Дальше все шло, как и на репетициях. В толпе смеялись, перебрасывались замечаниями. Петя рассматривал незнакомые лица. Отца не было. Он сегодня работал в тупике, далеко от депо.

Петя обернулся. В глаза ему бросились красная и черная доски. Они были заслонены зрителями, виднелись только самые верхние фамилии: на красной—Досталь, Череминин и Портнов, на черной—Сикорский и Горбунов. Ниже Горбунова виднелось заглавное «М», но продолжение фамилии было скрыто фуражкой какого-то машиниста.

Петя знал Череминина—толстого и суетливого мастера: вспомнились сразу и его кожаная потертая куртка, и печально обвисшие усы, и страшный, синевато-мутный, пораженный бельмом глаз. Теперь Череминин представлялся совсем другим: словно потому, что занесли его на красную доску, у него сразу зубы стали не желтыми, а белыми, усы подстриглись, и исчезло страшное синеватое бельмо на глазу. Петя думал о маленьком толстом Череминине; в это время машинист отодвинулся, и стало видно всю фамилию, начинавшуюся на М—Мельников. Фамилия была написана мелом, крупными, толстыми, четкими буквами. Петя смотрел на нее изумленно, приоткрыв рот. Внезапно он сообразил, что товарищи заметят его неотрывный взгляд, обязательно посмотрят и увидят. Он искоса взглянул на соседа Костю, но тот был целиком занят спектаклем.

— Сейчас тебе трубить,—шепнул он Пете.—Бошьясь? Красный стал.

— Нет... не боюсь,—ответил Петя.

Стенка как раз дошел до слов «да здравствует»—и пальцами подал Пете сигнал. Но звук трубы был незнакомо немощным, вялым; слова: «долой прогульщиков, долой, долой»—не вышли совсем.

Пока Саша заканчивал митинг, Петя стоял, потупившись. Он понимал, что не следует смотреть на доску, чтоб не привлечь к ней внимания, но не мог удержаться и поминутно оглядывался. Чувствуя противное стеснение в горле, он тупо думал, что вот сейчас Саша дойдет до слов «позор», по-

вернется к доске и вслух прочтет фамилии: «Позор Сикорским, Горбуновым и Мельниковым!» И то, что он скажет не «Мельникову, а «Мельниковым»—было особенно страшным. И тогда Костя шепчет: «Мельников!.. Слышишь, Петька!» И уже сейчас отвратительно представлялись Пете Костины округлившиеся глаза, оттопыренные уши и прозрачное лицо с бледными, крупными веснушками и светлыми бровями.

Но Саша произнес слово «позор», не повернувшись к доске.

Петя не захотел возвращаться в рядах. Сославшись на головную боль, он пошел прямо домой.

Над вокзалом висел серый вечерний сумрак. Мутный ответ зари просачивался сквозь тучи, как кровь через вату. Длинная очередь выстроилась у kiosка с пивом. В самом углу привокзального садика нудно скрипела гармоника.

Петя пересек запыленную вокзальную площадь. Улицы железнодорожного поселка были уже пустыми. В приземистых домишках захлопывали ставни. Ровный ветер гнал с запада тучи, земле было душно, как под одеялом. Петя шел, ощипывая клейкие листки с тополевой ветки; когда брошен был на сырую, неприветливую землю последний листок, Петя удивился, увидев в руке оголенный прут: он не помнил, когда и где подобрал эту ветку. Он перебрался через канаву по гнилому мостику, вдруг остановился и прижался к покосившемуся забору так плотно, словно хотел втиснуться в сырые доски. Отец не заметил его и протопал мимо, разбрызгивая грязь в хлюпающих лужах (дождь уже начался).

Около калитки Петя остановился. Лохматые тучи задевали за вершины телеграфных столбов. Крупный дождь ровно стучал о железную крышу. Где-то вдали, верно у семафора, надрывно и тонко кричал паровоз. Петя долго прислушивался к его тоскливому вою; вот и перестал кричать паровоз, донеслось хлопотливое его попыхивание, а Петя все стоял, втянув голову в плечи, чтобы не падали капли за воротник. Стало уже совсем темно, участился дождь, с тонким шелестом лопались пузыри в мутных лужах, подернутых спневатым нефтяным налетом. И Пете вдруг показалось, что он никогда и не жил иначе, что так он и возник в мире, стоя здесь, у калитки, что все время, пока он стоит здесь, на небе напластываются тучи, так же мерно и полно стучит о железные крыши дождь. И почему-то казалось, что дождь этот—черный, а тучи—тонкие, скользкие и холодные, как листы кровельного железа,

Петя стоял не двигаясь, не замечая, что под ноги натекла вода и проникла через стертую подошву. Донеслись частые, частые звонки с вокзала, их завершили два редких удара. «Южному выход», — подумал Петя и вдруг понял, что он боится идти домой; потому и стоит здесь на дожде, в темноте, что боится. И он понял еще, что это совсем не такая боязнь, которую он испытывал после открывшегося баловства; он боялся идти потому, что за столиком ожидал его отец — такой же, как и вчера, большой, теплый и краснолицый, и в то же время тот самый Мельников, имя которого четко выписано мелом на черной доске. Петя знал, что как только войдет он в дом, отец загудит навстречу: «Пришел, коммунист», — но эти слова уж никак не будут похожи на прежние, от них не делается тепло и радостно, и Петя, сам того не сознавая, берег в себе эти слова прежними, боясь утратить навсегда такую дорогую их теплоту.

Петя вздрогнул, увидев рядом высокую фигуру отца.

— Петюшка! — изумился отец. — Я тебя искать уж пошел. Идем в хату скорей. Ишь — вымок весь. Ах, командрат ты мой!

Ладонь отца была жесткой и горячей. Он густо и укоризненно басил:

— Будет тебе, коммунист, от матери, будет.

Мать ахнула, снимая с Пети насквозь промокшее пальто. Она не решалась браниться, только посмотрела пристально в Петины глаза и тревожно спросила:

— Нездоров, что ли, Петюшка?

Петя ответил, стараясь сделать голос обычным:

— Голова болит.

— Голова? — переспросил отец. — В постель ложись. Добегался.

Он мямлил и тискал Петю, стаскивая с него одежду. Петя юркнул под одеяло. Но жесткая горячая ладонь отца настигла его и там.

— Жару, мать, нет. Однако завтра доктора надо позвать. Грипп, слышь, ходит.

Петя лежал под одеялом с открытыми глазами. Казалось, что если он не будет шевелиться, то перестанет чувствовать руку отца. Он смутно хотел, чтоб отец, как и всегда, стал бы расспрашивать его о проведенном дне, хотелось услышать такое знакомое «брат ты мой, командрат», и он боялся в то же время, что отец и вправду вздумает расспрашивать.

Представился завтрашний день в школе: до самого звон-

ка Петя будет прятаться, а потом войдет в класс сзади учителя. Но он только на один час сумеет отдалить страшные расспросы, а в перемену кто-нибудь, а может быть, все разом начнут спрашивать, смеяться... Петя вообразил этот день, сжался под одеялом и тихонько высвободил голову из-под руки отца.

Отец пошел спать. Петю раздражал и стук сапог, закидываемых под кровать, и тяжелое сопение. Потом мать перебежала комнату и потушила лампу. Луны не было. Петя чувствовал, что хотя он и лежит в теплой постели, а не мокнет на улице, но глянцевитые тучи остались такими же скользкими и тяжелыми, также грохают о крышу черные капли дождя, так же вздуваются пузыри в мутно поблескивающих лужах, подернутых синеватым нефтяным налетом. Кот Васька жалобно закричал под окном. Петя хотел встать, но неожиданно для себя всхлипнул и очень испугался, что услышит отца. Он хотел сдержаться и не мог, упал лицом в подушку и натянул на голову тяжелое ватное одеяло. Наволочка взмокла. Петя перевернул подушку на другую сторону.

Обеспокоенная мать встала и зажгла лампу. Петя опять почувствовал на голове тяжелую руку отца и услышал его тревожное гудение:

— Ты что, Петюшка, братец мой!

Отец наклонился совсем близко. Петю охватил родной запах табака и пота. Он обнял шею отца и прокричал:

— Тебя на доску записали! На черную!

— Что?—не понял отец.—Доска?.. Какая доска?..

— Тебя! В депо! На черную!..

— В депо-о-о?—изумленно протянул отец, захватил Петю в кольцо огромных рук и повернул лицом вверх.

И Петя видел, как он, вдруг сообразив, расширил темные, в морщинах глаза; потом совсем близко, щекоча Петину грудь концами рыжих жестких усов:

— Ты это про нашу черную доску, что ли? Так не я это—чудак ты!.. Не я это. Ты брат, Петюшка, ошалел совсем...

Ухватив Петю за худые плечи, с выступившими углами ключиц, он легко встряхивал его и продолжал, захлебываясь от спешки:

— Не я это, Петро, совсем не я. То другой Мельников, из вагонного цеха маляр. То совсем другой Мельников, Яков. Он и не похож на меня—я большой, а он маленький, кривобокий... Видал, может, все ходит-то так, ровно соро-

ка, с подпрыгом, с подпрыгом. Это он не вышел два дня—вот и записали. А меня и нет там вовсе, на доске-то, а Якова вот вкатили туда. Ах ты, чудачина, Петро, чудачина. Ты бы сразу и спросил, брат ты мой, командрат!..

Отец похлопал Петю широкой ладонью, и слова, и густой запах табака и пота все было близким, родным, и кот Васька сидел на самом освещенном месте и вылизывался, вытягивая поочередно то одну, то другую ногу.

И уже совсем по-другому колотился о крышу дождь, не казавшийся больше черным и тяжелым, как чугуи.

Утром, во время перерыва на завтрак, отец пошел в местком. Секретарь Томилин переписывал протокол на машинке; отец грузно переступил с ноги на ногу и сказал гудяще:

— Я до вас, товарищ Томилин. Там бы имена на доске проставить надо.

— Какие имена?—не понял Томилин.

— На доске, на черной. К фамилиям. Там Мельников записан Яков, маляр из вагонного. А я, значит, Семен, кузнец.

— Ну,—торопил Томилин.—Что ты мне рассказываешь... Не знаю разве?..

— Да вы-то знаете, а вот парнишка мой, Петюшка—в пионерах он у меня, вчера весь вечер промучился. Мы думали заболел уж. Ночью заревел. Говорит: «Тебя на черную доску записали». Спутал. Имени-то нет. Вот и обидно ему стало, что отец да вдруг на черной на доске. Весь вечер промучился...

— Обидно стало?—тихим голосом переспросил Томилин, приподнимаясь со стула так осторожно, словно опасаясь спугнуть кого-то невидимого и легкого, как дым.—Обидно-о-о,—протянул он, вглядываясь в медное большое лицо кузнеца, измазанное нефтью и копотью. Неожиданно и коротко он закончил:—Новые, брат, времена пришли!..

Он вышел и, спросив у разметчиков мелу, четко и крупно написал на досках—против каждой фамилии—имя и название цеха.

## КОЛЕСО

### 1

Каронина разбудил грохот рухнувшей самоварной трубы. Минут десять Каронин лежал не двигаясь, оберегая блаженное чувство здоровой истомы и полного душевного успокоения. Чувство это было для него новым; просыпаясь в городе, дома, он всегда торопился, вспоминая бесчисленные заводские дела и стараясь как можно плотнее уложить их в дневное расписание. Стройные его планы всякий раз ломались, рушились, к вечеру обнаруживались неизбежные хвосты на завтра; потому и проносились дни в спешке, в деловой лихорадке, и уж давно не приходилось Каронину чувствовать самого себя с такой полнотой, как сегодня.

С намеренной неторопливостью нашаривал он туфли под кроватью, потом небрежно накинул халат и подошел к окну. Дом стоял на взгорье, окно выходило в сад, сбегавший уступами книзу; в саду росло много мяты; знойный тяжелый воздух был маслянистым от запаха. Туго гудел большой шмель с желтыми оплечьями и белым брюшком. «Ниже, дурак, ниже», — говорил Каронин, палочкой подталкивая шмеля, но тот гудел еще злее и, ловко увертываясь, лез выше, в самую темень, под потолок.

К саду вплотную примыкали побережные огороды; середину занимал большой, десятины в три с лишним сплошняк. Холодно поблескивала на грядках сизо-голубая капуста. Около большого и неуклюжего подливного колеса хлопотали мужики, что-то надстраивали и переделывали. Мужики кричали все разом, и Каронин не мог понять — советуются они или

переругиваются. К месту их шумного сборища направлялась телега, груженная жердями. Спускаясь с горы, лошадь поджимала зад и круто пригибала лоснящуюся шею. Мужик бежал рядом и, подпирая плечом оглоблю, тпрукал нежно и ласково, почти-что с мольбой. Телега громыхла на выбоинах, свисавшие жерди упруго покачивались и сухо звенели, ударяясь в жесткую землю. Мальчишка рыл червей в навозе, у самой дороги, и едва успел вывернуться из-под копыт. «Я те спущу шкуру», — страшным голосом крикнул мужик, замахиваясь кнутом. Мальчишка подхватил свою баночку и пустился бежать, выколачивая пятками маленькие, аккуратные клубы пыли.

Вчера Каронин узнал от своего хозяина, Еремея Игнатьевича Индулова, что большой огород-сплошняк и подливное колесо принадлежат колхозу «Луч Октября». Председатель этого колхоза, Никита Лакичев, был, по словам хозяина, жадным и суматошливым человеком. Именно по инициативе Лакичева колхоз отхлопотал себе лучшую часть побережья, в том числе участок самого Еремея Игнатьевича, и засеял весь сплошняк капустой, рассчитывая осенью выгодно сбыть ее в городе.

Работников в колхозе было тридцать шесть человек; когда капуста потребовала полива, колхоз спасовал. Правление решило нанять в помощь своим работникам единоличных баб и мальчишек. Мужики, пораженные вначале размахом колхозного хозяйства, стали потихоньку подсмеиваться: полив обходился так дорого, что понимающие люди предсказывали полуторатысячный убыток.

Еремей Игнатьевич собрал бывших хозяев огородной земли и привел в правление. Хозяева предложили ликвидировать сплошняк: разбить по старым межам и вернуть участки прежним владельцам. При этом хозяева соглашались полностью возместить колхозу уже затраченные деньги. Правление заколебалось, соблазнившись возможностью так просто и безубыточно разделаться с огородной затеей. Еремей Игнатьевич мгновенно сочинил договор, но вернулся на беду из города Лакичев и так решительно сказал «нет», что правление не посмело с ним спорить.

Через два дня колхозники начали строить колесо для подъема воды из речки на свой огород. Провозились целую неделю — и зря. Колесо не пошло. Теперь его переделывали,

а огород поливали попрежнему с помощью единоличных баб и мальчишек.

Все это Еремей Игнатьевич рассказывал ровным голосом, с обычной мудрой и тонкой усмешкой.

Каронин посочувствовал его убыткам. Еремей серьезно ответил:

— Барыш—наплевать... У нас хватает, слава богу. За землю обидно! Вот тебе крест,—из-за этого и в правление пошел... Чтобы на нашей земле полторы тысячи убытку иметь! Да это!..

Он даже не смог подобрать сразу подходящего слова и несколько секунд беззвучно шевелил губами, потом закончил с глубокой обидой в голосе:

— Дурак, и тот на нашей земле убытку не примет.

Он перегнулся через подоконник, зачерпнул с цветника горсть земли и размял ее толстыми черными пальцами.

— Сало с земли текет. В эти места по берегу сто лет навоз валили. Рази ж тут можно убыток принять! Речка под боком, а у них овоща горит! Дшкость!

Каронин осторожно поковырял землю пальцем. Ему казалось, что он понимает простую мужицкую обиду Еремея Игнатьевича на бестолковых колхозников, которые не могут по-хозяйски работать на такой чудесной земле.

## 2

Купаться Каронин ходил на «пески»—местный пляж.

Река была широкой и плавной, и только на середине вода чуть морщила, обтекая древнюю, покрытую зеленоватой плесенью корягу. На золотистой отмели, взблескивая, прыгал жерех, глуша хвостом мелюзгу. По тропинке с визгом бежали босые девки, а следом за ними прокрались три парня. И Каронину радостно было думать, что деревня устроена именно так, как он и представлял себе в городе: есть Еремей, настоящий, истовый, земляной мужик, и борода у него черная, чугунная, лопатой; купаются в речке грудастые тугие девки, и парни ходят за ними подглядывать; и мальчишки удят подустов на быстрине, такие натуральные мальчишки, в коротких холстяных штанах, веснушчатые, белобрысы, с облупленными, красно-глянцовитыми носами.

Огромный слепень гудел над Карониным, прицеливаясь ударить в голую шею. Каронин отпугнул слепня брызгами и

вдруг сразу, для самого себя неожиданно, вспомнил детство.

Над речкой Курганкой стояла такая же легкая и горячая смолистая тишина, так же взблескивал жерех на отмели, так же свирепо гудели длинные рубчатые слепни, поровня ударить в голову мальчишеское тело.

В детстве Каронин любил, обмазавшись вязкой белой глиной, лежать на солидпекке до тех пор, пока глина не высохла и не начала теснить. Тогда, очень осторожно, чтобы не потрескалась глиняная броня, он шел в глубину и долго стоял, сосредоточенно ощущая постепенное исчезновение тесноты. Потом он выходил на мель и с внимательной радостью ощупывал и осматривал свое тело: оно казалось совсем новым, точно бы вылупившись из глины, он родился во второй раз.

И сейчас Каронину казалось, что деревенская жизнь с ее наивными радостями и красотами смывает с него обыденные заботы и мысли, и он может как в детстве осмотреть и ощупать самого себя, именно себя, а не свое инженерство, семью, знакомых, сослуживцев и прочую глину, которая налипла так плотно, что порой казалась даже неотделимой.

Он оделся и вышел на тропику. Сырой песок мягко похрустывал под ногами. Потом берег встал крутояром. Пришлось подняться.

Мальчишка в синей рубашке с горошинами и в красноармейском шлеме удил уклеек, напизывая их на толстую лохватую веревку. Вережка разрывала уклеикам жабы: они мгновенно дохли и плавали гирляндой, странно напоминая ветку с поблекшими серебряными листьями. Каронин посоветовал забросить с крутояра на голавлей; мальчишка солидно кашлянул, шмыгнул носом, подумал и веско сказал:

— Они—титрые!..

И снова закинул удочку на уклеек. Каронин пошел дальше. Крутояр снижался, вода мельчала, впереди уже виднелось колхозное колесо. Каронин остановился у плетня посмотреть. Мужики рыли на берегу ямы для кряжистых столбов. Четверо плавали в огромной неуклюжей лодке и тонким белым шнурком измеряли пролеты между сваями, забитыми в дно.

— По верху мерь, по верху!—закричал с берега босоногий старик, похожий на лубочного Николу-чудотворца. Седые кудри лежали венчиком вокруг его розовой плешины.

Ветер надувал пузырями его ситцевые штаны. Каронин угадал в нем Никиту Лакпчева, колхозного председателя.

Лодка, несмотря на величину и тяжесть, была очень неустойчивой, и когда мужик на корме, прихрипывая, с одного удара загонял топором восьмидюймовый гвоздь, лодка стремительно отскакивала, кренилась, мужик с топором балансировал как канатоходец, а рябой краснолицый парень с крутыми желтыми глазами орал нутряным голосом, вцепившись в борта:

— Яфим! Утопнем!

3

— Маются,—сказал кто-то над самым ухом. Каронин обернулся. Одноглазый мужик положил на траву ось, кусок полосового железа, и повторил—не то с издевкой, не то сочувственно:

— Здорово маются.

Мужик шел в кузницу, но, казалось, совсем забыл об этом; подперевшись по-бабы ладонью, он спокойно наблюдал чужую работу и сокрушенно покачивал квадратной, коротко стриженной головой. Рыжий волос рос на голове очень густо: она медью отблескивала на солнце.

— Хозяйство большое у них,—сказал мужик.—Гранднее хозяйство. Папироской, товарищ-гражданин, не угостите?

Каронин протянул ему лортсигар. Папиросы перекатывались и скользили в коротких черных пальцах. Каронин вытряхнул папиросу на ладонь. Мужик закурил и осторожно справился:

— В закрытом? Папиросы в закрытом брали?

— На рынке,—ответил Каронин.—Папирос теперь много.

— А у нас в потреббилке ничего нет!.. Третьедни ящик мармелату привезли,—вмиг по своим разошлось. Вот бы их в газетке пропечатать...

Мужик помолчал, кашлянул и вкрадчиво спросил:

— Вы не из газетки, случаем?

— Нет. Я—инженер.

— Ага,—протянул мужик и значительно поджал губы.—Стало быть, по строительству или там по машинам?..

Таинственно подмигнув Каронину, вполголоса спросил:

— Как вы думаете—пойдет? Чтоб, значит, самоходом, без лошади. Перпетунобля не выйдет у них?

И, как бы опасаясь, что Каронин не поймет мудреного слова пояснил:

— Перпетунобля—это вроде бы пшик... За-зря.

— Ерунду говоришь,—поморщился Каронин.—Простое подливное колесо. Видал на мельницах? Ну, вот такое же, только поставлено вертпально.

— Вертпально... Это верно,—согласился мужик.—Только на мельницах—напор. А здесь без напора. Нам поп объяснял,—это-де перпетунобля, за-зря.

— Дурак ваш поп. Здесь и не требуется напора. Хватит теченья.

Мужик молчал, тараша единственное свое око. Другой глаз пораженный бельмом, был неподвижным и тусклым.

— А вот наемдин пробовалп—не пошло,—сказал он.—Никак не пошло...

— Значит, установили неправильно. Переделают—и пойдет.

— Неужто пойдет? А я вот слышал...

— Некогда мне, братец, с тобой,—без церемонии перебил его Каронин.—Успокойся—пойдет. Ты колхозник, что ли?

— Нет... Мы—единомышленники,—неохотно сознался мужик.

Каронин улыбнулся тому, что он слил вместе два слова: «единоличник» и «злоумышленник». А может быть, он вкладывал в слово «единомышленники» совсем другой смысл и хотел сказать, что сочувствует колхозу.

— А раз «единомышленник», так что же ты беспокоишься? Не твой ведь огород поливать будут?

— Эх, товарищ!—с неожиданным пылом вскричал мужик и даже приподнялся на цыпочках. Рыжая шерсть на его лице встопорщилась и просвечивала.—Эх, товарищ! Оно всю жисть нам переехало, это самое колесо, чтоб его разорвало! Спокою лишило... Судьбы своей, видно, не минешь, вилай, не вилай...

— Не понимаю,—пожал плечами Каронин.

Мужик не слушал его и говорил торопливо, с какой-то гибельной восторженностью, как в бреду:

— Рази ж нам против них выстоять? У них тебе и лобогрейки, и сеялки разные, и от государства помога. И колесо вот, посеял—и горя не знай! Само польет. А нам, выходит, ведрами таскать! Рази ж тут выстоишь? Жмут!..

— Кто жмет? Река большая. Хватит на всех. Палкой тебя в колхоз не гонят.

— Палкой не моги,—внушительно сказал мужик.—Прав теперь нет таких, чтобы палкой. Это вам, гражданин-товарищ, не прошлый год...

Он явно кичился знанием законов и заседал так зло и упорно, точно Каронин в самом деле собирался гнать его в колхоз палкой.

— Отстань ради бога,—взмолился Каронин.—Оставайся единоличником. Твоя добрая воля. При чем тут я, при чем колесо?

— А душа-то?—удивился мужик, отодвинулся и проникновенно посмотрел на Каронина.—Душу забыл, товарищ? Чтоб тебе, скажем, таскать ведрами, а они—колесом? У них, скажем, овоща будет, а у тебя гулькин нос? Сам придешь, товарищ, да и лошадку приведешь, вот что!.. Жмут!

Он сердито вскинул на плечо ось, полосу железа и как-то боком, словно петух, побежал в кузницу, загребая ногами пыль.

4

Вечером приехал хозяин Еремей Игнатьевич Индулов. У него были какие-то дела в соседних селах, и он часто уезжал на целый день, оставляя дом на хозяйку и на младшего ее брата—белесого тихого парня, всегда чем-то озабоченного и напуганного.

Хозяин прошел к умывальнику. Каронин слышал лязг навесного краника, плеск воды, тяжелое фырканье, и по этим звукам вспомнил кирпичного цвета шею хозяина, поросшие курчавым жестким волосом руки, и даже угадывал позу, в которой стоит хозяин у рамонойника,—согнувшись и раскорячившись, как медведь.

Еремей крепко стукнул кулаком в дверь и сейчас же вошел. Он постучался как хозяин, не спрашивая разрешения, а лишь предупреждая.

— Как живем?—весело спросил он, усаживаясь на кривобокый зыбкий стул. Черная борода тяжело лежала на его широкой груди; от него пахло конским потом, дегтем и дешевым мылом; даже манера сидеть была у него особенная, прочная, и стул точно не осмеливался качаться и скрипеть под ним.

Истовый облик Еремея Игнатьевича бросился Каронину в глаза еще на станции; прямо к Еремею и подошел Каронин справиться о комнате. Еремей предложил поселиться у него.

Дорогой они сговорились о плате, причем Еремей так обстоятельно обосновал свою цену, что у Каронина не хватило духа торговаться.

Хозяйка принесла самовар. Еремей подошел к окну и осмотрел запоры на ставнях. Загудел потревоженный шмель; Еремей ловко загнал его в бумажный фунтик, вытряхнул за окошко и спросил:

— Донимают вас, поди, колхозники с колесом. Ведь от самой зари до ночи горланят.

— С ними веселее,—пошутил Каронин.

— Оно пожалуй,—снисходительно улыбнулся Еремей.— Под чужой надсад, как говорится, лучше свой отдых чувствуешь...

Каронин налил ему чаю. Еремей пил с блюдечка, плотно установив его на темной, широкой ладони; губы он складывал трубочкой и втягивал чай как насосом.

— Спать ложитесь вы поздно. Городская привычка. Однако, необходимо вам в таком разе ужинать. Настя!

— Что вы, Еремей Игнатьевич! Я сыт по горло!

— Настя!—еще оглушительнее крикнул Еремей, потом спокойно пояснил:

— Деревенский наш воздух легкий... Без ужина не годится. Червь беспокоить будет.

Он приказал жене каждый вечер ставить на стол хлеб, молоко и что-нибудь мясное от обеда. Каронин умилялся его патриархальной грубоватой заботливости. Еремей степенно откланялся и вдруг спохватился:

— Батюшки! Совсем забыл. Документ ваш возвратить надо. Прописал я вас в сельсовете.

Он подал Каронину отпускное удостоверение.

— Был разговор насчет вас. В документе обозначения нет—по какой части инженер. Я сказал—по химике.

— Ну, вот и ошиблись,—засмеялся Каронин.—Я как раз механик.

— Ишь ты!—огорченно воскликнул Еремей.—А у нас в прошлом году жил один инженер. Тот был по химике. Ну я и подумал...

— Да это все равно,—перебил Каронин.—Только зачем понадобилось им знать?

— Вот уж не скажу,—развел Еремей руками.—Может, экзамент хотят устроить. По квалификации проверить.

И густо засмеялся, колыхая на груди тяжелую бороду. Прощался он тепло и сердечно.

— Если проехаться вздумаете,—для прогулки там или на рыбалку,—только скажите. Мигом дрожки соорудим. Васька отвезет; ему, охломону, все равно делать нечего... Наши места посмотрите; золотые места у нас, прямо роскошь. Желая приятного сновиденья.

Оконные стекла были золотыми; в саду стояла пепельная вечерняя мгла. Звезды были четкими, близкими и прозрачными, точно просвечивали изнутри. Погромыхивала телега, мычала корова, на другом конце деревни густо пели под гармошку девки.

Каронин вышел в сад. Хозяйский шурина Василий, поплеывая семечки, любезничал с маленькой смуглой девушкой. Она приподнималась на цыпочки, чтоб заглянуть через невысокий плетень; шурина галантно приглашал ее в сад прогуляться и все норовил ухватить за грудь. Она притворно отбивалась; шурина вторил ее приглушенному смеху мелко и клохтающе, как петух. Разгоряченный ее близостью, он полез напролом, но в эту минуту по саду гулко раскатился зычный окрик Еремея Игнатьевича:

— Васька! Где ты пропал, охломон!

Шурина точно ветром сдуло. Он промчался в двух шагах от Каронина, вытаращив невидящие глаза, ломая кусты и ветки.

Со двора донесся его голос, перехваченный не то одышкой, не то испугом:

— Здеся, здесь, Еремей Игнатьевич, здесь!

## 5

На следующий день после обеда Каронин лежал под вишнями и читал «Обрыв». Издание было очень старое, листы пожелтели и пахли древностью; эта книга печаталась еще в те времена, когда слово «цензура» писали через «с». Фразы плыли широко и спокойно; Каронину казалось, что старые помещичьи сады пахли так же, как сад Еремея Игнатьевича.

На взгорьи собирался народ. С книгой в руках, Каронин подошел к ограде. Колхозники пробовали колесо. Оно останавливалось после двух-трех оборотов. Блестевшая в желобах струйка воды исчезла.

Послышался злой, спокойный голос:

— Гражданину-товарищу поклон! Выходит—правда-то моя?..

Одноглазый мужик стоял на дороге, корячась и заламывая шапку. Он был сильно пьян и не скрывал, пожалуй, даже подчеркивал это.

— Не пошло! Где ж слова твои, гражданин-товарищ? Ни хрена ты в этом деле не понимаешь!

Единственный глаз мужика налился кровью.

— Ни хрена!—сбычившись, подтвердил он и пошел дальше, путаясь в собственных ногах.

В гору, навстречу ему, поднимался председатель Никитин Паничев—без шапки, в калошах на босу ногу, в красноармейских засаленных галифе на выпуск. Мужик остановил председателя и начал сердито доказывать ему что-то, потом поволок за рукав к Еремееву двору.

У ворот их встретил хозяин. Каронин ушел под вишни, не дожидаясь конца разговора.

Вскоре мужик появился у ограды и, грозя кулаками, начал материться и даже швырнул в сад камнем.

От высокого берега на воду ложилась зыбкая, матовая тень. Заря стекала по белым стволам берез. Чуть заметно покачивался камыш, колеблемый не то рыбой, не то течением.

Поп подошел незаметно—такие тихие были у него шаги—и сказал:

— Здесь клевать, гражданин, не будет. Пойдемте. Я покажу вам местечко.

Он повел Каронина в камыши, где бойко брались окуньки и подлещики. Удочка все время цеплялась за корягу. Каронин оборвал три крючка.

— Будете доставать?—осведомился поп.

— Да ну их к бесу,—засмеялся Каронин.

Поп вздохнул и начал медленно стаскивать сапоги. Вода здесь была глубокая; Каронин испугался и долго отговаривал попа, обещая подарить целый десяток крючков.

— Буду признателен, а эти все-таки нужно достать,—непоколебимо ответил поп и скинул штаны. Он стоял перед Карониным во всей неприглядной старческой наготе. Ступни ног были фиолетовыми, тело—желтым, точно восковым. Мутно-зеленые жилы струились по его тощим бедрам, вздуваясь кое-где синими венозными узлами. Выпуклый бледный

живот порос курчавым седым волосом, грудь была впалая и ключицы торчали углами.

Он осторожно спустился в глубину и вскоре показался на поверхности с одним крючком. С его серых волос звучно бежала вода. Отдышавшись, он нырнул снова и достал второй крючок, а третьего так и не смог найти... Ляская зубами, пачкая глиной живот и локти, он выбрался на берег.

Белья у него не было. Ветхость его одежды скрывалась рясой.

— Еремей Игнатъевич больно вас хвалит,—сказал он, с трудом шевеля деревянными от холода губами.—Пришлись вы Еремею Игнатъевичу по сердцу... А ему трудно по сердцу приттись...

— Он и вас не забывает,—ответил Каронин.—Вчера масла вам дал полчетверти.

Поп встревожился.

— Когда? Какое масло?..

— Да вчера. Я в садике лежал, в гамаке... Вы с четвертью приходили.

— Поджармливаться мне больше негде,—сознался поп.—Храм наш закрыли, а приход свободный получить нынче трудно... Убывают приходы... Сапожным вот ремеслом прирабатываю, да разве хватит?..

— Вы бы служить поступили. Человек вы грамотный. В грамотных сейчас большая нужда. А в бога все равно ведь не верите?

— Не верю,—ответил поп и высморкался.

И неожиданно добавил:

— А может, и верю.

— Раз самп не знаете, значит не верите.

— Должно быть так. Но рясу берегу на всякий случай. Мне жить осталось недолго, лет пять. Я их как-нибудь... и в рясе. А когда помру, видно будет—есть он или нет, предвечный-то... В гробу думать не о чем, вот и решай вопрос—есть или нет... Если есть, так у меня ряса...

Он загнулся, подумал и закончил, сам радуясь меткости своего словца:

— Как билет партейный на том свете будет. Свидетельство моих земных терзаний. Все мы терзаемся на земле, однако печальную юдоль эту почитаем за большое счастье и с ней расстаться боимся...

— Терзанья, батюшка, от безделья,—резко сказал Ка-

ронии.—У кого дело, тому терзаться некогда. Вон Еремей Игнатьевич без терзаний живет.

— Неправильно изволите говорить,—ответил поп с твердостью.—От делов терзаний еще больше. Дела человека к земле тянут. Я хоть высокими идеями терзаюсь, а он—земными. Стяжательство нам в наказание дано, а Еремей-то Игнатьевич стяжатель...

— Бросьте болтать,—бесцеремонно прервал его Каронин.

Поп насмешливо ответил, расчесывая пятерней серые прямые волосы:

— Вам виднее. Вы к Еремею Игнатьевичу ближе... А вдруг, не дай бог, колесо пустят?.. Как же ему не терзаться?

— Что ж из того? Ну, пустят...

— Ну, и Еремею Игнатьевичу конец...

Каронин подсек, но впустую, закинул удочку снова и с любопытством посмотрел на попа.

— Почему же это?.. Вы что-то, батюшка, врете. Сами вы, наверное, терзаетесь из-за колеса. Перпетуум мобиле зачем-то выдумали. Неудачно выдумали, отец, неграмотно... Вы бы физику почитали.

Поп молчал.

С запада стремительно шла низкая туча с загнутыми, литыми краями. Над ближним лесом полыхнула зарница.

— Золотые у него уста! Златоуст окаянный!—вскричал поп и захохотал, весь дергаясь, прижимая большие бледные руки к впалой груди.—Златоуст! Заговорит мертвого!..

Каронин молча сматывал лески.

— Гроза будет,—сказал поп, отсмеявшись.—На утренней зорьке клева жди. Не одолжите ли парочку удильниц, которые подлинше. Завтра принесу.

Каронин дал ему две удочки, дюжину крючков и не прощаясь ушел.

Поп нагнал его. Лицо попа было бледным; он запыхался и дышал, мокро всхлипывая. В углах морщинистых губ пузырилась слюна.

— Спросить хотел,—задыхаясь, прошептал он.

Ударил гром. Поп вздрогнул и сказал полным, немного дрожащим голосом:

— Правда ли, что человек по смерти четыре месяца думает?

— Что такое?—тревожно переспросил Каронин.

Поп с удочками и корзиной в руках надвинулся вплотную.

— Думает! Помрет, а мозги работают! В гробу!

— Вы, батюшка, сумасшедший,—убежденно сказал Каронин.

— Терзаюсь,—выкрикнул поп.—Шесть лет терзаюсь. Боюсь!

При свете полыхнувшей зарницы Каронин заметил сизую бледность его лица, словно бы поп в самом деле давно уж помер и трупом ходит по земле.

За чаем Каронин рассказал Еремею о встрече с попом.

— Удочки он ваши прощьет,—ответил Еремей.—Горький он пьяница. И мысли у него несуразные. Шаткой человек. У нас народ к леригии привержен, а за церковь, однако, никто не заступился. Задаром колхозу отдали. Я маненько покричал, да тоже отступился... Все равно в чужом приходе молимся. Я сам хоть в бога не верю, но к леригии, однако, привержен. В соседний приход хожу. Там поп солидный. Проповедки может. А наш—горе, одним словом, У нашего однажды в церкви штаны упали с похмелья. Никакого ему уваженья!..

Попел дождь и загудел в саду, полно забарабанил по хрусткой железной крыше. Яблони шептались невнятно и торопливо, как в бреду.

— Конек был у нас,—неторопливо повествовал Еремей, положив на стол тяжелые руки, перевитые темными жилами.—За конька этого родителю тыщу рублей давали в старое еще время, но только они и за десять бы не продали. И никому на ём вожжей не доверяли, только сами. Как-то пришлось им с помещиком ехать; Ростовцевы дворяне тут жили неподалеку, где сейчас молочная ферма. Родитель у них лесную дачу снимали, на поруб. И вот поехали они с помещиком дачу смотреть. Дороги у нас гладкие, что река; вздумалось им погоняться. У Ростовцева, стало быть, англичанка и фаэтон на резиновом ходу; родитель—по-мужички, в тарантасе. И выставили Ростовцева на пятьдесят сажен. Тот ажко с плеткой полез, а родитель говорят: «Не дерись, барин, знай, чья нынче линия пошла». Ростовцев три месяца приставал. Давал за конька этого лесу нивесть сколько. Родитель, однако, не продали; больше из гордости, потому что цена была настоящая. И от конька этого они кончину приняли. Стали его от кобылы оттаскивать. Тот озверел—

дело весеннее, да и шарахнул копытом в грудь. Родитель зачухли, да через пять месяцев и скончались. Мы, три брата—поделились, а конька продали. Тошно было нам на родительского убийцу глядеть. И где он сейчас, конек, не знаю. А остался у меньшого брата Михаила от него жеребчик, уж такой жеребчик! В Сибири брат у меня, на земли вольные переселился. Да только теперь у него ни земли, ни жеребчика. Избу, и то взяли. Кулаком вишь признали. Вот тебе и линия!..

Шел дождь. Косые его струи заливали подоконник. За дверью стонала и охала сонная хозяйка. Над лесом вздрагивали молнии, выхватывая из тьмы то кусок берега, то верхушки деревьев, то фантастический силуэт огромного колеса.

— У нас, конечно, места вольные,—говорил Еремей.— В Сомовке, однако,—отсюда двадцать верст,—места куда ширше. Там дружок мой живет. Вот уж приволье. И лес, и озера, и речка, и комара нет. Завтра я туда по делу наведаюсь. Едьте вместе. Посмотрите. Карасей в пруду полоните. Крупный карась в ихнем пруду водится... Чистый рай!

— Что ж... Поедемте...

Еремей подошел к окну и долго стоял, прислушиваясь к бредовому шепоту листьев, к прохладному плеску дождевых струй.

— Сад этот в третье колено перешел,—вдруг сказал он глухим голосом.—Понял! В третье колено. Дед своими руками сажал!..

— А теперь?—настороженно спросил Каронин. Еремей молча вышел, грузно топая подкованными сапогами.

## 6

— Еремей Игнатьич нас в Михаловке будут ждать,—сказал шурин, устывая дрожки соломой.—Они туда еще на рассвете уехали, с попутчиком. А из Михаловки мы, все втроем, прямо в Сомовку...

Шурин накрыл солому рогожей и пояснил, улыбаясь:  
— Чтоб мослы не болели.

И в первый раз Каронин заметил, что шурин, в сущности, красивый и ладный парень; портили его только глаза, всегда прищуренные, точно в ожидании удара, и безвольные, испуганно приоткрытые губы.

Сначала ехали горой, мимо ветряков, потом спустились в лощину. Село скрылось из глаз; виден был только скелет оголенного церковного купола. Дорога была малоезженная; высокая, сырая трава с мягким шипеньем ложилась под колесами. Грудастый коршун сидел на щетинистом пригорке; заметив телегу, он медленно расправил ржавые негнувшиеся крылья и полетел совсем низко, почти задевая сырые хлеба. Лошадь шла медленно, иногда останавливалась, чтоб ухватить пучек травы; шурин, подбрасывая локти, дергал вожжи и тонко кричал:

— Н-но! Балуй!

Дул мягкий прозрачный ветер и шевелил волосы на затылке шурина. Быстро шли на восток снеговые, крутые облака, отбрасывая на поля скользящие тени.

— Хлыст надо вырезать,—сказал шурин и, не слезая с телеги, нагнул вязовую ветку. В плотной слонстой листве возник голубой просвет. Шурин отпустил ветку; она выпрямилась с влажным шумом; в лицо Каронину ударили свежие брызги.

— Есть же кнут,—сказал Каронин, утираясь носовым платком.

— Прутиком способнее,—ответил шурин.—Кнут у нас строгий. С проволокой. Сам Еремей Игнатьевич делали. Этим кнутом сейчас нельзя—секет. А в полдень слепень пойдет; он на рубец крепко падает.

Каронин взял из рук шурина страшный кнут. С виду он был самым обыкновенным, ременным, только разобрав сплетения, можно было заметить толстую ржавую проволоку.

— Еремей Игнатьич—хозяин сурьезный,—сказал Каронин, подделываясь под мужицкую речь.

Шурин молчал и все поддегивал вожжи.

Каронину хотелось поговорить.

— Давно вместе живете?

— Осьмой год,—односложно ответил шурин.—Как Настю они взяли, так все вместе и живем.

— Разве больше никого нет?

— Мать есть. Только она отдельно живет. На выселках. Раньше с нами жила, а теперь на выселках.

— Что ж вы ее отдельно?

— Стара стала. Какой от ей толк? На выселках живет. Еремей Игнатьич для нее баню купили. В бане и живет. Хошь обедай, хошь мойся. Все удобства.

— Чудаки!—удивился Каронин.—Старую-то как раз и нужно оставить дома. Она, поди, и для себя-то сделать ничего не может.

Шурин чмокнул губами и пустил лошадь рысью. Грязь комьями летела из-под колес. «Семейка!»—иронически подумал Каронин и накрылся дерюгой.

Мальчишка гнал теленка навстречу. Увидев дрожки, теленок остановился, замычал, поднял хвост и кинулся в хлеба. «Разрази тебя!»—тонким голосом крикнул мальчишка и побежал за ним, швыряя камнями и размахивая хворостиной. Потом встретила телега с пьяным мужиком; мужик спал, свесив багровое лицо, прикрытое плоскими желтыми волосами. За телегой тянулась распутавшаяся веревка.

Шурин вдруг сказал, как будто бы ни к чему:

— Так в бане и живет. Еремей-то Игнатьич лишних ртов не любят.

Сомовка очень понравилась Каронину; речка здесь была шире и чище, берега поросли березами, вода сквозила в проветах белых стволов.

Еремей предложил Каронину остаться в Сомовке до конца отпуска.

— А то уж на меня пальцем стали казать. Гребет, мол, деньгу с приезжих... Боюсь, как бы налогом не ожгли... А о деньгах не думайте,—я с хозяином сам сговорюсь. За те же деньги, а удовольствия вам больше...

Каронин согласился. Шурин съездил в Еловку и привез чемоданы. Изба, в которой поселился Каронин, стояла у самой реки. Хозяйка вымыла пол и стены, повешала в углах полыни; полынь увидала, наполняя избу грустным запахом. Деревня была маленькая, тихая; парни ходили гулять за шесть верст и шумели только на рассвете, возвращаясь.

Еремей уехал ночью, не попрощавшись.

— Вряд ли увидите теперь с ним, с Еремеем-то Игнатьевичем,—сказала хозяйка, соболезнующе покачивая головой.—Уезжать вам ловчее через Дубровино-станцию. От нас пятнадцать верст. А через Еловку—круг давить...

...В полях душно и прiono пахло зреющей рожью. Каронин долго ждал, пропуская через мост немногочисленное сомовское стадо. Оно шло с тягучим ревом, окутанное теплой оранжевой пылью, гулко топоча по тонкому дощатому настилу.

У кладбища дорога круто поворачивала. В какие-то незапамятные еще времена набрасали камней на дорогу, так они и остались лежать, калеча мужицкие телеги. Каронин улыбнулся, вспомнив разговор с шурином об этих камнях. Телегу трясло и пивыряло, шуриш прикусил язык и очень огорченно сказал:

— Лежит камень и лежит. Чтобы каждый проезжающий по камешку сбросил. Вот бы и дорогу очистили.

— Начни,—посоветовал Каронин.—Слезь, да сбрось парочку.

Шуриш долго молчал, почесываясь, потом сказал без тени усмешки:

— Не-е... Нам несподручно.

Каронин обогнул кладбище и вышел на тракт. Навстречу ползла черная, приземистая телега. Лошаденка обмахивалась хвостом и смешно раскидывала узловатые ноги. Каронин отошел в сторону, чтоб не занесло пылью. Телега вдруг остановилась. Одноглазый еловский мужик, сняв нерешительно шапку, пристально смотрел на Каронина.

— Здравствуй,—сказал Каронин.—Не узнаешь?

Мужик подобрал обвисшие вожжи.

— Так вы рази в Сомовке отдыхаете?

— В Сомовке,—усмехнулся Каронин.

Мужик поскреб пальцем в курчавой рыжей бороде.

— Обод вот, язви его! Вишь порвался!—сказал он неизвестно к чему и тронул лошадь.

Оборванная шина заднего колеса торчала в сторону, царапала при каждом обороте лубочную обшивку телеги.

Сажен через пять мужик остановился. В голосе его звучало подозрение.

— А в город вы не ездили?

— Никуда я не ездил... Так вот и живу здесь...

— А мы в конторе были. Корье сдавали,—сказал мужик и поехал дальше. На его спине желтела большая мешочная заплата, прохваченная по краям крупными стежками.

На следующий день утром, вернувшись с купанья, Каронин увидел во дворе знакомую приземистую телегу с оборванной шиной заднего колеса.

Из-за бани вышел, поддергивая штаны, одноглазый мужик и зловеще сказал, не здороваясь:

— Сам Никита приехал. Он с тобой поговорит.

Каронин пригласил гостей к чаю. Одноглазый хватал чай, морщась и обжигаясь, придерживая левой рукой расходившуюся на груди рубаху. Выпив стакан, он вышел.

Никита щерился: солнце било ему прямо в глаза.

— Вы о чем-то хотели поговорить со мной,—сказал Каронин.

— Так точно,—бойко ответил Никита. Он был одет в жесткую, еще не стиранныю сатиновую рубаху с крупными костяными пуговицами. Венчик седых кудрей ровно лежал вокруг его маленькой розоватой плешины; кожа на лице была тугая и гладкая. Каронину казалось, что от Никиты исходит мудрый и теплый запах здоровой старости.

— О чем же вы хотели поговорить?

Никита кашлянул в кулак и, быстро выщелкивая слова, ответил:

— Вчерась поутру Федор пришел к нам в правление. Вот этот самый Федор, что чай пил. Я, говорит, с ним, с вами то есть, имел беседу, он, то есть вы, толк понимает в колесах... И раньше Федор о вас упоминал. Вот мы с ним и приехали...

— Опять колесо!—с комическим отчаяньем воскликнул Каронин...

— Еремей Индулов слух распустил, что вы дескать в городе. А Федор нашел вас здесь. И мы, значит, постановили... в порядке смычки, вернее шефства...

Никита достал из кармана лист бумаги, развернул и передал Каронину. Это был протокол заседания колхозного правленья. В протоколе длинно и путано говорилось о коллективизации, ликвидации кулачества как класса,—и все это заканчивалось решением просить Каронина помочь в постройке колеса.

— Зачем же протокол,—смутился Каронин.—Я и так... С удовольствием... Посмотрю, посоветую...

Вошел одноглазый мужик. С его сапог стекал деготь, наполняя комнату вязким запахом. Никита крикнул, весело отщелкивая слова:

— Запрягай, Федор Кузьмич! Поехали!

— Не желают,—насмешливо протянул мужик и, вдруг рванувшись к Каронину, гровно крикнул:

— А бумагу читал?

— Втроем едем, язви те!—зашипел Никита.

Мужик осекся и долго топтался на месте молча. Наконец сознался:

— Телегу в кузницу отвез. Думал, вам разговора до вечера хватит...

Еще издали заметил Каронин отблеск зари на белых крестах.

Огненная кладбище, телега запрыгала по камням.

Одноглазый мужик обернулся и сказал с обидой в голосе: — Ну и народ лодырь!.. Чтобы каждый проезжающий по камешку сбросил...

7

В Еловке телега остановилась у знакомых ворот с голубым отблескивающим при луне верхом. Одноглазый мужик выгрузил чемоданы. Никита звал ночевать к себе. Каронин отказался, опасаясь обидеть Еремея Игнатьевича.

Телега, прыгая и дребезжа на кочках, покатила под гору, в речную низину, задернутую туманом.

Каронин постучал. В соседнем дворе яростно вскинулся пес, перекрывая лаем визг скользящего вдоль проволоки кольца. Из сарая донесся сиплый спросонок голос:

— Кто там еще?

— Я,—ответил Каронин.

Шурин подошел к воротам и негромко спросил у самого себя:

— Сергей Петрович, никак... Он и есть... Вот уж не ждали!..

Он ловко подхватил чемоданы и понес в избу, рассказывая на ходу:

— Еремея Игнатьевича нет. Уехали в Томилино. Завтра после обеда вернутся...

В избе было душно. Каронин открыл ставень. Широкая лунная полоса наискось пересекла стенку, застигнув врасплох большого усатого таракана.

— Настю разбудить? Она вам постелю стоговит...

— Я сам,—ответил Каронин.—Вы спать идите, Василий. Я и один управлюсь.

Шурин ушел, мокро шлепая босыми пятками. Каронин накрыл перину свежей простыней. Серебряные от луны листья бросали в комнату мертвый сквозной узор. Каронин удивился тому, что мысль о предстоящей разлуке с тихой деревенской жизнью не огорчает его. Он соскучился по семье

и работе, по городскому шуму, электричеству и асфальту; сейчас он был охвачен желанием вновь увидеть все, от чего бежал две недели тому назад.

— Отоправил меня город, — сокрушенно подумал он и улыбнулся тому, что становится в позу перед самим собой. Он закурил папиросу и, разглядывая поблескивающий в лунном потоке циферблат часов, с неудовольствием вспоминал дорожные рассказы Никиты. Эти рассказы разрушили то представление о деревне, которое он создал для себя; он бессознательно стремился сохранить это представление чистым и таким унести с собой в город, чтобы там, безо всякой неловкости, рассказывать знакомым, как еще хороша и патриархальна русская деревня. Теперь же в этом представлении и в образе Еремея он ясно чувствовал фальшь.

Одноглазый мужик перегнулся через подоконник и загородил широкой спиной солнце.

— Народ уж давно ждет...

Каронин поспешно оделся.

В дверях его встретил перенуганный шурин.

— Неуж на колесо идете? — спросил он запинаясь и почему-то шопотом.

— А что?

— Да так... ничего... так просто... спросить. Куда идут, мол, — заюлил шурин.

Каронин вышел на дорогу и с разбегу махнул через канаву, густо заросшую сырой крапивой. Одноглазый мужик заботливо поддерживал его. Внизу, под взгорьем ждал, опершись на подожок, Никита.

Мужики у колеса притихли, заметив приближающегося Каронина. Рябой парень с круглыми глазами встал и вытянулся во фронт, с явным намерением насмешить остальных своей подчеркнутой почтительностью.

Каронин не умел работать без справочников и потому рассчитывал очень медленно. Мужики внимательно следили за движениями его карандаша. Рябой парень вытягивал жилистую цыплячью шею, пытаясь заглянуть в блокнот.

— Повернуть нужно, — сказал Каронин, окончив расчеты. — И кроме того осадить ниже. У вас, понимаете ли, сила течения и тяжесть не сбалансированы. И течение к тому же скользпит. Повернуть нужно.

Одноглазый мужик осторожно тронул Каронина за плечо.

— Мотри, не ошибись, товарищ. Перпетунобля не вышло бы. А то повернут, да зря. А махину этаку поворачивать—шутка ли!

Мужики закричали разом, не слушая друг друга. Дело предстояло сложное,—можно было свалить в речку все сооружение. Каронин советовал для безопасности разобрать часть колеса. Мужики не соглашались, падеясь благополучно повернуть целиком.

Опять появилась откуда-то большая и неуклюжая лодка. Мужик на корме с одного удара отрывал соединительные жерди; лодка отскакивала и кренилась; рябой парень с желтыми глазами, дурачась, орал нутряным голосом, вцепившись в борта:

— Аким! Утопнем!

Расчеты Каронина оказались правильными.

Как только Никита убрал просунутое между спиц бревно, колесо пошло самоходом.

Мальчишки, ударяя пятками в жесткую землю, помчались вдоль деревни, сзывая народ.

— Пошло-о-о!—протянул одноглазый мужик, весь день работавший вместе с колхозниками. Приподнимаясь на цыпочки, он следил за толстой перекрученной струей, звучно падающей в тесовый жолоб. На вытянутой шее мужика обозначились жесткие жилы; рыжая шерсть разошлась, и через нее сквозила белая, не тронутая загаром кожа.

— Крутится, так его мать,—выругался он, повернулся к Каронину и проникновенно сказал: — На погибель ты на мою приехал!..

И пошел солдатским, обрывистым шагом, вбирая голову в плечи.

Никита подтолкнул Каронина локтем и зацептал:

— За пазухой третий месяц заявленье носит. Думает, я не знаю. Я все знаю, я хитрый!.. Ну, не трог его—носит. Оно ему сердце жжет. Врет—вытащит из-за пазухи.

Около изгороди мужик остановился, обернулся,—хотел, видимо, что-то сказать, но раздумал и только махнул рукой.

Толпа вокруг колеса густела. Никита решил использовать момент и провести митинг.

Каронин вышел на дорогу. Желто отблескивали окна в доме Еремея Игнатьевича. Калитка была заперта. На стук вышел шурин.

— Еремей Игнатьевич велели вам сказать...—начал он, краснея и запинаясь.

Каронин хотел шагнуть в калитку. Шурип загородил вход.

— Велели сказать, чтоб вы комнату освободили. А вот и чемоданы ваши.

Он выволок заранее приготовленные чемоданы, заботливо выбрал место почище, поставил их, а сверху положил простыню, плащ и несколько книжек.

— Это что еще за фокусы?—яростным голосом спросил Каронин.—Где хозяин? Я поговорю с ним...

— Дома нет,—коротко ответил шурип, захлопнул калитку и наложил засов. Каронин ударил в ворота ногой. Доски загудели, брехнул соседский пес, но из людей никто не отозвался. Каронин схватил чемоданы и, вздрагивая от ярости, потащил их в другой конец деревни, к избе Никиты. Горячий соленый пот заливал глаза; тяжелые чемоданы раскачивались и били по ногам; из простыни выскользнула книга и плашмя шлепнулась на дорогу, взметнув облако оранжевой пыли. По желтизне листов Каронин узнал книгу—это был гончаровский «Обрыв»,—но не остановился и не поднял. Толстая ситцевая баба с коромыслом долго кричала ему вслед: «Книжку-то обронил, книжку!»—потом недоуменно замолчала, опасливо подобрала книгу и понесла домой.

## 8

Через два часа Каронин покинул Еловку. Никита поехал его проводить и заодно выкупить из багажа колхозный сепаратор.

Улица была сумеречна. По крышам, размахивая тряпками, бегали мальчпшки,—гоняли голубей. Голуби кругами уходили все выше и выше в теплое небо; вдруг белые их крылья блеснули красным: за горой солнце еще не зашло.

Никита говорил без умолка, щеголяя знанием политических слов.

— И теперь мы стоим на точке партийной, потому как у нас артель, а не коммуна, как Сидор Егорычев предлагал. И потому единоличник глядит на нас с надеждой, что, дескать, осень покажет. А мы это на учет и сейчас агитацию. Колесо нам агитацию тормозило, а ныне и это в нашу сторону плюс...

Каронин, не слушая его, раздраженно припоминал поступки и слова Еремея и все больше озлоблялся на свою глуповатую доверчивость.

— Идеалист доморощенный,—едко усмехнулся он.

Никита делкатно кашлянул и подтвердил:

— Уж диалист, так диалист!.. Он у нас самый что ни на есть кулацкий полководец. Так вот я говорю, что у нас уравниловки ни-ни!.. Трудодень и кончено! Вот!..

Возница-колхозник с тяжелыми челюстями и широким волчьим лбом подмигнул Каронину, точно гордясь своим председателем и желая сказать: «Видал, как чешет! И не запнется!»..

...Ворота Еремеева двора были наглухо заперты. У калитки стоял поп и несмело лязгал запором. Ему никто не отвечал, только в соседнем дворе хрипел и давился цепной кобель. Поп обернулся на стук телеги, растерянно приоткрыл рот и снял шляпу. Белые холстяные лямки накрест перечеркивали попу, носы чудовищных ржавых сапог загибались кверху на персидский образец, за спиной торчал угловатый тощий мешок.

— Далеко ли собрался, отец?—крикнул Никита.

Возница хлестнул лошадь. Стук колес заглушил надтреснутый голос попа.

Дорога выбегала из деревни в бесконечные, бледно желтеющие поля; только сейчас Каронин заметил, что поля лежат сплошь, без межей.

## НОВЫЙ ДОМ

### 1

О себе Кузьма Андреевич Севастьянов говаривал так: — На это я, мил человек, любитель—старинное сказывать. Я ее, старину-то, наскрозь помню. Удивительное дело, мил человек,—годов мне все более, тело грузнее, а память светлее. Я через свое умение пятерку заработал. Давно это было—лет десять. Приехал к нам эдак же один из города, заночевал у меня в избе. «Хозяин,—говорит,—ты наверное видел много, скажи,—говорит,—мне про старое». Я ему, конечно, всю ночь сказывал, а он—в книжечку. Да все пишет с успехом, а поспеть все одно не может. Прощаемся утром. «Спасибо тебе, Кузьма Андреев. На-ка,—говорит,—выпей за мое здоровье». Я жду, конечно, полтщинник, и тому рад, а он—пятерку... Легкие, видно, были у него деньги...

С этого и пошла слава о Кузьме Андреевиче. Вся округа признала его знаменитым рассказчиком о старине.

И правда—был он на это дело великий мастер. Рассказывал хорошо, нараспев, мудрыми и светлыми словами. Забудется, закроет глаза и слушает сам себя как будто издалека.

Нового человека Кузьма Андреевич ни за что, бывало, не пропустит. Два дня будет ходить вокруг да около, выберет все-таки время и расскажет о старине. Очень уж поговорить любил. Оно и неудивительно, потому что никакой другой утехы в своей жизни Кузьма Андреевич не имел. Был он широк в кости, здоров, и на работу лютый, а прожил весь долгий век в покосившейся избе; черные прогнив-

шие доски крыльца давно уж покрылись мхом; на крыше выросла травка и даже большой куст лебеды. Стены избенки поддерживались хитроумным переплетом подпорок и кольев; вышиби две подпорки—и готово: завалилась избенка.

Еще в молодых годах мечтал Кузьма Андреевич поставить новый дом, да так и не собрался с деньгами. Всю жизнь он маялся то без лошади, то без коровы... Разве построишься?

Мечта о новом доме горечью осела на его сердце; если теперь приходилось увидеть где-нибудь проездом белый сруб, синеватый в отесинах, и сизые крылья мужицких топоров вокруг него—на целый день терял Кузьма Андреевич благодущие.

## 2

Однажды, весенней ночью, Кузьма Андреевич вышел на колхозные огороды, что примыкали к задней глухой стене его ветхой избенки.

Ровный голубой свет заливал деревню, плыли облака, по крышам, по дороге, и дальше—на полях—стлались дымные, легкие тени и, добжевав до оврага, исчезали, точно сваливались в него.

В голубом тумане дрожит тонкая комариная струна, роса блестит на траве, на кленовых лапчатых листьях; где-то далеко-далеко, словно за тридевять земель, хрипло надрывается пес. Медным горлом кричат лягушки в пруду,—выгоняют месяц, что залез непрошеным гостем и разлегся в глубине на мягких, зеленых водорослях.

Кузьма Андреевич осмотрелся... Никого... Подошел к стене, вышиб одну подпорку, другую. Бревна сразу осели; с крыши посыпалась слежавшаяся в землю солома.

Совершив это странное дело, Кузьма Андреевич вернулся в избу.

Старуха месила тесто. Оно чавкало и пузырилось под ее жилистыми руками.

— Вышиб,—сообщил Кузьма Андреевич.—Завтра к полудню завалится. Дольше не выстоит...

— Ох, Кузьма! А не завалится она, часом, ночью? Придавит...

— Бог милостив,—сказал он, снимая сапоги.—Только, старуха, молчок! Завалилась и завалилась. От старости, мол. Нам ровесница.

Когда в избенке потух огонек, совершилось второе странное дело.

Из-за плетня появился человек—маленький, с бороденкой хвостиком, в облезшем собачьем малахее, поставил на место подпорки, колья; подумал, сходил куда-то, вернулся с толстой березовой жердью и подпер стену еще с правого угла.

— Врешь, Кузьма!—злорадно прошептал он.—Не завалится твоя избенка! Уберегу я твою избенку!

Проснулся Кузьма Андреевич рано. Кричал петух на дворе, красная заря заглядывала в мутное окошко.

— Ну, вот и не придавило. Пойти поглядеть. К полудню, чай, обязательно рухнет...

В дверях он обернулся.

— Я на работу уйду. И тебе, старуха, уйтить бы. А как завалится, бежи, кричи. Да чтобы слезу выдали.

— Ох, Кузьма! Не умею я со слезой.

— Дура! Потри глаза луком. Луквицу-то положи в карман.

Он вышел и остолбенел. Пальцы сами сложились для крестного знаменья. Особенно поразила его новая жердь, дымящаяся под ветром белыми прозрачными завитками.

— Что ж ты спишь, как бревно?—угрюмо сказал он старухе.—Ничего не слышишь.

— Ох, Кузьма!..

— Вот тебе и Кузьма! Подкузьмили!

На следующую ночь он решил обмануть врага и отодвинул подпорки так, что с виду они как будто поддерживали стену, а в действительности торчали зря—нижние концы не имели упора.

К утру появился упор—здоровенные осиновые колья.

А когда вышел Кузьма Андреевич на дорогу и оглянулся, то чуть не упал. Окна были окрашены синим, а наличники—желтым. Избенка выглядела нарядной; хоть куда!

Кузьма Андреевич схватил косырь и мгновенно соскреб всю краску. Она была еще сырая и липла к пальцам. Потом Кузьма Андреевич принес из лужи полную лопату грязи, заляпал стену и окна. Избенка сразу посерела и осунулась.

### 3

Станным ночным событиям предшествовало выселение кулака Хрулина. Недели через две после его отъезда про-

шел дождь, и тогда обнаружилось, что железная крыша кулацкого дома вся порублена топором.

С этого и началась великая душевная смута Кузьмы Андреевича.

Как-то вечером он залез на хрулинскую крышу посмотреть прорубины. Они были длинными, глубоко вдавленными с того конца, где топор ударял углом: краска потрескалась и облупилась... «До чего мужик вредный!»—подумал Кузьма Андреевич с искренней обидой на кулака.

Он ходил, внимательно приглядываясь и соображая, можно ли поднять края прорубин и залепить швы замазкой. Он так увлекся планами ремонта крыши, что даже забыл о ноющей, сверлящей зубной боли. А между тем правую щеку чудовищно разнесло, физиономия походила на кособокий арбуз.

Кузьма Андреевич направился к лестнице. В это время над обрезом крыши появилась голова в собачьем облезшем малахае, с ехидной бороденкой хвостиком. Это был Тимофей Пронин, прозванный в деревне за острый, злой язык и противоречивый нрав скорпионом.

Оба смутились и немного испугались.

Первым опомнился Тимофей.

— Ага...

— Угм,—в тон ему ответил Кузьма Андреевич.

— Та-ак,—протянул Тимофей, занося на крышу ногу в расхлябанном ржавом сапоге.

— Эдак.

— Оно, конечно...

— Знамо...

— Ну что?..

— Да вот—порубил, окаянный!

Тимофей пошел исследовать крышу. Кузьма Андреевич ревниво следил за ним, и все ему казалось, что Тимофей шагает слишком тяжело и еще больше разворачивает прорубины.

— Чтой ты, Кузьма, в птичье сословье записался?—сказал Тимофей. Ветер шевелил обвисшие уши его собачьего малахая.—Эк тебе, милый, рожу-то перекосило. Ай почью лазил на крышу да загредел отсюда?

Кузьма Андреевич, неловко оттопыривая зад, спустился с лестницы и пошел, разбрызгивая грязь, поддерживая ладонью вздутую щеку.

Он шел будто бы к своей избенке, а когда хрулинский дом скрылся за деревьями, свернул и быстро зашагал в правление колхоза.

— Здравствуй, Гаврила Степанов!

Председатель поднял стриженую лестницей голову. На столе перед ним лежала толстая тетрадь в клеенчатой обложке; в последние месяцы он не расставался с ней, что-то записывал, высчитывал, чертил, но никому не показывал.

— Эх,—вздыхнул председатель; жесткие волосы скрипнули под его загрубевшей ладонью.—Эх, темнота наша! Сбежал счетовод, дезертир колхозного фронта, щучий сын! Не хотят жить счетоводы в деревне: театров им здесь нет! Что тебе спонадобилось, Кузьма Андреевич?

— Да вроде бы ничего. Проведать зашел. Как оно, здоровьишко-то?

— Да ничего...

— А я все зубами мучаюсь.

— Ишь ты,—равнодушно сказал председатель, продолжая писать.

По его небритой щеке, отливающей медью, ползла большая муха. Скривившись, он дул, пытаясь согнать ее.

— Собрание-то когда?—спросил Кузьма Андреевич, зажимываясь от нестерпимой боли.

— А что?

— Надо бы... Всякое там. Вопросы.

Помолчав, Кузьма Андреевич осторожно добавил:

— Крыша опять же...

— Какая еще крыша?

— А на хрулинском доме. Порубил ее Хрулин...

— Так что?

— Чинить, мол, нужно.

— Кого вселим, тот пусть и чинит.

Колени Кузьмы Андреевича дрогнули. Он ответил не сразу, чтобы не выдать волнения:

— То-то... Пусть уж новый хозяин чинит.

— Безусловно.

— Вот и я эдак же говорю мужикам, что безусловно,—ответил Кузьма Андреевич, с видом величайшего безразличия разглядывая потолок.—Опять же—кого вселять?

— На собрании обсудим.

— Во, во... Я эдак же говорю,—на обсуждение, мол, надо. Кто, значит, беднейший.

— Беднейший, в работе наилучший, у кого жилье плохое,—сказал председатель.

Му­ха слетела с его щеки, пересекла—золотая—солнечный столб, угодила сразмаху в паутину и заби­лась с тонким, звенящим визгом.

В окно, загораясь солнцем, всунулся малахай Тимофея.

— Гаврила,—обратился он к председателю,—хрули­ску-то крышу будем чинить?

— Вы что, сбесились с этой крышей!—закричал пред­седатель и сердито швырнул ручку.—Спокою нет мне от вас!

Тимофей заметил Кузьму Андреевича. Ехидная боро­денка Тимофея дрогнула.

— Чтой ты, Кузьма, ровно заячьи ноги за­имел. Везде вперед поспеваешь.

#### 4

— Тимофей цепляется,—сообщил Кузьма Андреевич ста­рухе.

Зуб рас­ходился все злее. Правая сторона лица от­нялась целиком.

— Сходи к Тириллу,—сказала старуха.—Отдай ему рубль, хапуге. Третью ночь не спишь.

Но Кузьме Андреевичу было жалко рубля. Старуха про­гнала его почти силой. Он спустился по огородам. Внизу, прислонившись к ветлам, стояла хибарка Кирилла. Вечерняя тень на­крывала ее.

Кузьма Андреевич постучал.

— Войди с богом,—от­ветил старческий голос.

Кирилл—божий человек, местный мо­лельщик и значарь, сидел на скамейке под образами. Костным лоском от­блескивал его желтый сухой череп, по затылку бежала, точно привязанная к ушам, тонкая седая кайма.

Он улыбнулся, сощурил бледные глаза, и все об­личье его стало бла­гостным, как икона.

— А я все молюсь,—ра­достно сообщил он.—Я все мо­люсь. Сядишь, золотой, помолимся вместе.

— Зуб вот,—мрачно от­ветил Кузьма Андреевич.

Кирилл сочувственно за­охал и проворно достал с бо­жницы темный пузырек.

— Из Ерусалима,—шо­потом сказал он, крестясь,—из самого Ерусалима.

Он отлил несколько капель в другой пузырек, поменьше, и подал Кузьме Андреевичу.

— Монашек принес один. Давай три рубли.

Они торговались долго. Наконец знахарь скинул рублевку.

Кузьма Андреевич тут же вылил содержимое пузырька в рот и, глухо замычав, пошатнулся. От холодной воды зуб рвануло, в глазах, как выстрел, мелькнули красные жала.

Зуб болел еще четыре дня. Наконец опухоль прошла. Мысли Кузьмы Андреевича прояснились.

Его извечная мечта была теперь доступной и совсем близкой.

Вот он стоит на пригорке, новый хрулинский дом, на кирпичном фундаменте, под железной крышей, с красными разводами на ставнях. Он овеян влажным зеленым дымом весенних берез; над ним в бледном небе кучатся взбитые облака, и так четко виден на их белизне железный петушок— флюгер. Кузьма Андреевич наизусть знал всю историю этого дома: он был сложен из самых лучших сосновых бревен, полы настелены в два ряда, дубовые балки, раскорячившись, держат потолочные перекрытия.

Когда у Хрулина не хватило денег на покупку железа для крыши, он потребовал с Кузьмы Андреевича старый долг. Пришлось отвести на базар корову и тройку овец. Теперь Кузьме Андреевичу казалось, что он, больше всех перетерпевший от Хрулина, имеет самые неоспоримые права на этот дом. Но Тимофей Пронин думал, очевидно, иначе и не скрывал своих намерений справиться в ближайшие дни новоселье.

«Не поддамся!»—думал Кузьма Андреевич. Для начала он решил перекрыть в работе всех колхозников. Возили жерди крыть скотный двор и сарай. Кузьма Андреевич трудился до поздней ночи—топор вздрагивал синим холодным блеском, отражая луну. В три дня Кузьма Андреевич наворотил огромный штабелище жердей. И хотя «Скорпион» воровал у него жерди целыми десятками,—все признали Кузьму Андреевича первым ударником. Он окончательно утвердился в этом звании после ремонта сплосной башни. В ней проступала вода; прошлогодний силос испортился, и нельзя было заготавливать новый. Раскинув мозгами, Кузьма Андреевич прокопал систему канавок и отвел воду.

— Голова!—значительно сказали мужики, а председатель, для которого сплосная башня имела, помимо практиче-

ского значения, еще и символическое—как первый законченный объект его плана, изложенного в клеенчатой тетради,—записал Кузьме Андреевичу за этот подвиг сразу восемь трудодней.

Чтобы выбить из рук Тимофея последний козырь, Кузьма Андреевич решил сделать свою избенку наихудшей в деревне, просто-напросто завалить ее. Но злоехидный Тимофей проник в его мысли и зорко оберегал избенку: каждую ночь проверял подпорки, забивал колья и даже выкрасил оконные рамы. Он хотел выкрасить весь фасад, но в его запасах, хранившихся еще с тех пор, когда ходил он на заработки по малярному делу, не нашлось охры, почему этот сатанинский план и не был приведен в исполнение.

Так и не удалось завалить избенку, хотя прибегал Кузьма Андреевич к разным хитростям.

На собрании сидел он красный и гордый. Председатель долго перечислял его заслуги. Стенгазета, составленная комсомольцами, воехвалила Кузьму Андреевича и в прозе и в стихах. Заслуги были так велики и неоспоримы, что мужики заранее поздравляли его с новосельем.

— Предлагаю,—сказал председатель (Кузьма Андреевич замер, скамейка будто качнулась под ним),—предлагаю ввести товарища Севастьянова в правление.

— Давай!—загудели мужики и выбрали Кузьму Андреевича единогласно.

— Следующий вопрос о хрулинском доме,—начал председатель, роясь в своей засаленной, лохматой папке.

Собрание притихло; через головы мужиков тянул сизый махорочный дым.

...Мечты Кузьмы Андреевича рухнули. Председатель сказал, что рик, заслушав его доклад и учитывая, с одной стороны, успехи колхоза в посевной компании, а с другой стороны—отдаленность районной больницы, постановил открыть в колхозе амбулаторию, использовав для этого хрулинский дом.

Мужики захлопали в ладоши. Собрание окончилось.

Тимофей сказал:

— Вот и зря горб мозолил.

— А тебе спасибо,—язвительно ответил Кузьма Андреевич.—Поклон тебе низкий: поддержал ты мою избенку.

— Для хорошего человека почему же не постараться. Подпорку-то возверни березову.

— Это моя подпорка.  
— Как твоя?  
— Эдак,—ответил Кузьма Андреевич, злобно ликуя.—  
Раз у моей избы, значит моя!

И ушел.

— Обождь, обождь,—кричал ему вслед Тимофей,—моя жердь!

Возвращался Кузьма Андреевич окольной дорогой, мимо хрулинского дома. На окнах и двери белели тесовые перекресты.

Кузьма Андреевич сердито подумал: «Эх, жизнь. Верно так и помрем в хибарке!»

Около избы его поджидала старуха.

— Кузьма, погоди!

Щекоча его бороду своим теплым дыханием, она прошептала:

— Я тут без тебя завалила стенку-то. Бревном подворотила... Ежли, мол, придут с собрания, поглядеть...

Ночью ударил ветер, избенку продувало насквозь. Глухо гудели корявые вербы, мешали Кузьме Андреевичу спать.

Рассвет был поздним, небо заволокло серой мглой; тучи ползли низко и заваливали горизонт.

Вернувшись с колхозной работы, Кузьма Андреевич принялся за ремонт избенки. Сеялся тонкий дождь. В мягком его тумане расплывались очертания дальних сараев. Лес сразу отступил версты на две.

Смущенная старуха говорила:

— Все хотела как лучше.

Кузьма Андреевич только побряхтывал, ворочая бревна. Они замшели в пазах и были скользкими.

## 5

Вскоре приехал фельдшер. У него были жиденькие усы, круглые свиные глаза и огромный череп, надвинутый, как малахай, на сплющенное лицо.

О себе фельдшер был чрезвычайно высокого мнения; в разговорах с колхозниками обходился двумя словами: «дярёвня» и «дикость».

— Вы как жуки в навозе здесь живете,—говорил он.— «Дярёвня!» Культурному чтоб человеку с вами никак терпеть невозможно. Дикость!

Мужики виновато покашливали. Фельдшер продолжал:

— Мне, к примеру, с вами вовсе нечего делать. Как я имею специальность по нервным и психическим. Какая могут быть у него нервы, — ткнул фельдшер пальцем в Кузьму Андреевича. — Дярёвня у него, а чтоб о нервах, он даже не понимает. Или возьмем слово самое: «пси-хи-ат-рия». Кто здесь эдакое слово может понять? Дикость!

— А какое же в нем понятие, в этом слове? — любопытствовали мужики.

— Да вам что объяснять, — презрительно отвечал фельдшер. — Латинского вы все равно не учили...

Так и не узнали мужики, что значит мудреное слово — «психиатрия».

Хотя фельдшер получал от казны жалованье, но даром никого не лечил. Брал он много дорожке Кирпцла; амбулатория пустовала. Мужики ходили туда исключительно за справками о невыходе на работу по болезни — иначе председатель не верил. Фельдшер выдавал справки очень охотно, потому что был почитателем собственного почерка и радовался всякому случаю лишней раз подписаться. Он долго раскачивал кисть руки, примерялся справа и слева, наконец сразмаху бросал перо на бумагу и выводил длинный завулон. Развлекаясь, он исчертил своей подписью всю «книгу учета больных».

По штату в амбулатории полагалась уборщица. Гаврила Степанович предложил эту должность Устинье с условием, что колхозной работы она не бросит.

Устинья была местная вдова; муж ее утонул три года тому назад; она честно вдовствовала, никого не подпуская к себе. Многие вздыхали по ней. Она и в самом деле была хороша: вся крупная и по-тяжелому красивая, на переносице сходились широкие сердитые брови; красная повязка обрезала гладко зачесанные синие волосы. Устинья всегда повязывалась красным, обозначая этим свое колхозное положение.

— Так, — значительно сказал фельдшер. В мутных его глазах блеснул хищный огонек. — Подойди как поближе, дярёвня.

Через пять минут мужики, сидевшие на крыльце правления, услышали доносившийся из амбулатории неясный топот и крики. Вдруг с треском, сразу на обе рамы, лопнуло окно.

— Караул!—тонко закричала Устинья и выскочила на улицу.

В ту же секунду в окне показалась потная и красная физиономия фельдшера. Он ловко на лету поймал Устинью за юбку и пытался втолкнуть обратно. Она перебирала ногами на одном месте, думая, наверное, что бежит. В глазах мужиков с утомительной быстротой мелькали ее оранжевые чулки.

Шея председателя багровела. За медной небритой щекой перекатывался крупный, как грецкий орех, желвак.

— Пусти!—закричал председатель так страшно, что Кузьма Андреевич вздрогнул, а Устинья оборвала свой воображаемый бег. Председатель встал и, проламывая чугунными сапогами землю, подошел к окну.

Кузьма Андреевич подумал, что сейчас он ударит фельдшера.

— Ты,—сказал председатель, укладывая на подоконник свой булыжный кулак.—Ты моих колхозниц не трожь!

Он медленно закрывал раму, втискивая фельдшера обратно в амбулаторию, точно отгораживал его от колхоза стеклом.

Устинья срамила фельдшера последними словами.

— Уйди!—приказал председатель.

Она ушла, поминутно оглядываясь. Слизкие волосы липли к ее потной щеке.

После продолжительного молчания Кузьма Андреевич сказал:

— Все говорит фельдшер-то: «дикость», «дикость». А от его же самого и происходит дикость!

Деревенская улица упиралась в лес; через сквозистые вершины сосен, через их чешуйчатые стволы широкими пыльными полосами дышало солнце и зажигало стекла в хрулинском доме.

— Элемент!—сказал наконец председатель.—Его бы за это в газете предать позору. А тронь его, попробуй. Уедет—и останемся мы без амбулатории. Прощай наша культурная жизнь!..

И голос его звучал так, словно он извинялся перед колхозниками за мягкость своего обращения с фельдшером.

С германского фронта Тимофей пришел пузом вперед: чересчур гордился своей медалью. В колхоз он вступил

последним—было приятно, что Гаврила Степанович на глазах у всей деревни ходит за ним и уговаривает; значит, он, Тимофей Пронин, для колхоза необходимый человек, и без него дело не пойдет.

Последующая жизнь в колхозе казалась ему целью сплошных обид. Его не выбрали членом правления, а в хрулинском доме, на который он так надеялся, открыли амбулаторию. А если бы ее не открыли, то дом достался бы все-таки не ему, а Кузьме Андреевичу!

«Как вы со мной, так и я с вами»,—решил Тимофей и бросил работать. Гаврила Степанович писал ему по трети и по четверти трудодня, но Тимофей был неисправим.

Однажды он попал в бригаду Кузьмы Андреевича. Устраивали подземное хранилище для картошки. Лопаты легко входили в плотную глину и до блеска сглаживали разрез. Рубаха Кузьмы Андреевича уже посерела от пота; он оглянулся и увидел, что Тимофей сидит, свесив ноги в яму и курит. Мутный дым стекал по его бороде.

— Ты что же?—спросил Кузьма Андреевич.—А работа?

— Работа?..—сплюнул Тимофей.—Работа, она дураков любит.

Кузьма Андреевич чувствовал на себе глаза всей бригады и понимал, что обязан дать Тимофею достойный ответ.

— Дураков?.. Я вот—работаю. Я, значит, по-твоему, дурак?

— А ты что привязался!—закричал Тимофей.—Знаем мы таких! Ударник!.. Насчет нового дома! Знаем, для чего работаешь!

У Кузьмы Андреевича перехватило дыхание. Слова Тимофея были непереносимо обидными.

— Язык бы тебе ножницами отстричь,—озлобившись, сказал Кузьма Андреевич.—А только я теперь все одно поставлю вопрос на правлении.

— А может, я больной,—торопливо заявил Тимофей.—Как ты имеешь право ставить вопрос, ежели я больной?..

Весь день Кузьма Андреевич работал без отрыва; боялся, что если сядет отдохнуть—вся бригада поверит в правильность слов Тимофея. Кузьма Андреевич отрывисто швырял пудовые кирпичи глины; они летели, медленно переворачиваясь и рассыпаясь в воздухе. Вечером, когда окончили работу и сели покурить, он сказал, неискренно усмехаясь:

— Выдумает... Хрулинский дом... В хрулинском доме

ныне амбулатория, а я все одно стараюсь для колхозного дела.

Никто не ответил ему, и он мучительно почувствовал, что этих слов не следовало говорить.

7

На следующее утро Тимофей выволок из хлева единственного своего гуся и топором отрубил ему голову. Кровь с шипением ударила в сухую землю. Медленные судороги шли по гусиному телу; вытягивались, дрожка, красные лапы.

Баба ощипала и опалила гуся. Завернув его в чистое полотенце, Тимофей отправился к фельдшеру.

Специалист по нервным и психическим еще не вставал. Он встретил Тимофея весьма неприветливо, но, увидев гуся, смягчился.

— Положи на скамейку. Куды прешь в сапожищах! Оставь, оставь полотенце-то!

Тимофей с душевной болью накрыл гуся полотенцем.

Из-под полотенца торчали красные, перепончатые лапы гуся, а из-под лоскутного засаленного одеяла—грязные ноги фельдшера с желтыми, восковыми пятками и слоистыми, как раковина, ногтями.

— Ну что?—сонно спросил фельдшер.

— Да вот. Животом мучаюсь. С ерманской войны. Как работа тяжелая, так мне—смертынька.

— Давит?

— Ох, давит...

— Щемит?

— Ох, щемит.

— Пухнет?

— Каждый день пухнет.

И вдруг Тимофей вспомнил, что у него в самом деле два раза болел живот—однажды на фронте, а потом в деревне, года четыре тому назад. Тимофей кричал и катался на кровати, а баба недоуменно спрашивала: «Никак, родить собрался?»

Прислонившись спиной к дверному косяку, он подробно повествовал о своих страданиях.

— Грыжа, явная грыжа,—перебил фельдшер.—Тяжелого поднимать нельзя.

— Так ведь не верят... Справочку бы...

Фельдшер встал и в грязных подштанниках пошел в приемную. Завязки волочились за ним, шевеля обгорелые спички и окурки. Тимофей ликующе ждал. Фельдшер вернулся и вручил ему справку, украшенную замысловатым завулоном подписи.

Председатель Гаврила Степанович уважал науку и против справки ничего поделать не мог. Тимофея назначили охранять коровник. Он обрел наконец тихую пристань. Вечером, застелив угол свежей соломой, он устраивался поудобнее и спал всю ночь в парном запахе коровьего помета.

## 8

Утром по деревне прошел почтарь-кольцевик, а в полдень фельдшер заявил, что ему необходимо ехать на станцию за медикаментами.

С подводой нарядили Кузьму Андреевича. Он сидел впереди, свесив правую ногу; денек выдался задумчивый, облачный; помахивала жиденьким хвостом лошаденка; кованный обод прыгал с кочки на кочку.

До станции считалось полтора часа; в молчанку играть Кузьма Андреевич не любил, откашлился, огладил бороду, и сказал напевно и проникновенно:

— Да, мил человек... Старину я всю вот как помню. Удивительное дело, мил человек,—годов мне все более, тело грузнее, а память светлее... Через это свое умение про старину сказывать я пятерку заработал. Места наши тогда были глухие да лесистые. Ничего-то мы не слышали, ничего не видели, а чтоб радиво—этого даже не понимали.

— Что ж с дярёвни спрашивать?—ответил фельдшер.— Эка невидаль—радио! Мне уж сорок лет, а я его еще мальчишкой слушал.

Сердился Кузьма Андреевич, когда его перебивали, однако стерпел. Очень уж соскучился по своему напевному голосу, закружился с этим колхозом,—некогда и про старину вспомнить.

— Ну, а потом—верно, что стали к нам городские люди наезжать. Флегонтов Маркел Авденч, из московских купцов, именно купил у барина у нашего.

— Из Москвы, да в эдаку дикость!—фыркнул фельдшер.— Дурак видно был. Вот его к вам, дуракам, и потянуло.

Кузьма Андреевич обиделся и всю дорогу молчал да

поглядывал искоса на своего неприветливого спутника. А тот сидел, подобрав по-турецки ноги; только большой череп покачивался от тряски, словно был укреплен на пружинах.

«Не такие хлюсты слушали да хвалили, — сердито думал Кузьма Андреевич. — Эх ты, человек божий, обшитый кожей! Вместо души лапоть стоптанный поставили тебе по ошибке».

Добрались потихоньку до станции. Слез фельдшер с телеги, вытащил из-под сена чемодан. Только сейчас понял Кузьма Андреевич, почему так неловко сиделось ему всю дорогу.

— Скажи там в дярёвне, что я не приеду больше.

— А как же? — опешил Кузьма Андреевич.

— А так же. Сто лет жили вы без амбулатории и еще сто проживете. Вашу дпкую организму никакая холера не возьмет.

Поднимая чемодан, фельдшер добавил:

— Меня, может, в Кремлевскую больницу приглашают... по нервным. А я буду в дярёвне у вас клопов кормить?

Сел в зеленый вагон, только его и видели. Поезд загудел, громыхнул и пошел выговаривать скороговоркой, выбрасывая крутые, упругие клубы дыма; они висели в летнем воздухе, неподвижные, точно шары.

Посмотрел Кузьма Андреевич вслед поезду и повернул лошаденку.

Раздумье взяло его. Заедят мужики. «Эх ты, — скажут, — ворона, упустил фершала». Оно, конечно, хрустинский дом освободился, но все-таки обидно. В Африке, что ли, в самом-то деле, живут мужики, что всякий городской человек — счетовод ли, фельдшер ли — только и смотрит, как бы наострить лыжи!

Председатель, узнав о бегстве фельдшера, угрюмо усмехнулся:

— Театров им здесь нет, матери ихней чорт! Они, городские, все эдаки: голодный сидит, а театр ему покажи!

Председатель ходил из угла в угол по комнате; деревянно стучали его валенки, подшитые грубой подошвенной кожей. Четыре месяца провел он в мокрых окопах, мучился с тех пор ревматизмом и время от времени парил ноги в валенках.

— Закреть бы театры эти, — сказал Кузьма Андреевич. Председатель садится за низенький столик с выщерб-

ленными краями, тяжело опускает квадратную голову и слушает, настороженно приподняв брови, как переливается в коленях зудящая истома.

— Можно и по-другому, — негромко говорит он. — В деревнях можно открыть.

9

Лето шло жаркое и душное. Обмелела речка Беспута, обнажились коряги и песчаные отмели; все покрыто илом, ракушками, окутано водорослями; в полдень, когда пригревает солнце, явственно слышен запах подводного тления. Голые ребятишки, облитые загаром, целыми днями месили в Беспуте грязь, добывая из нор и коряжника скользких, мягких налимов и глупых усатых раков.

Звенели, дымились под кованым ободом сухие дороги, человек еще вон где едет — за три версты, а уж видно мутное облако пыли над ним. Умывается мужик с дороги, и черная течет с его бороды вода.

Хлеба стояли плотные и рослые; особенно радовало, что не захирели участки, посеянные на много раньше обычного. прямо по грязи. Желтая, солнечная тишина стояла над полями; казалось: замри, и чутким ухом услышишь, как дружно, враз, тяжелеет и клонится колхозный хлеб.

Крепче прежнего налег Кузьма Андреевич на работу. Да и не мог иначе. Во-первых, подгоняли мысли о новом доме. Во-вторых, обязывало звание члена правления и лучшего ударника. Возвышенному человеку отставать в работе не дозволено, возвышенный человек у всех на виду, сразу предадут его позору. А с большой высоты падать больнее — это Кузьма Андреевич хорошо понимал и боялся: он уже привык к всеобщему уважению — на собраниях слушали его с таким же вниманием, как самого председателя, в затруднительных случаях бежали к нему за советом. И теперь, раздумывая, по своей многолетней привычке, вслух, называл он себя не просто «Кузьмой», а «Кузьмой Андреевичем» или «товарищем Севастьяновым». Обмолвившись, назвал однажды старуху «Прасковьей Федоровной», чем доставил ей много беспокойства: целую ночь размышляла старуха, что следует ожидать от мужа после столь необычного обращения.

Было еще и другое: этого Кузьма Андреевич и сам не сознавал. От дедов и отцов передалась ему, как всякому старательному мужику, строгая хозяйская рачительность; он

шестьдесят с лишним лет носил в себе эту рачительность и никуда не мог приложить. Когда батрачил у Хрулина, руки не поднимались работать по-настоящему: кусок все равно чужой, не получишь с хрулинского стола даже крошек.

Томила Кузьму Андреевича хозяйская тоска. Хотелось выйти в поля, хлеб посмотреть, сбрую проверить, жеребца погладить по широкому, желобчатому крупу, взбучку задать какому-нибудь нерадивому сторожу, хотелось, чтобы хозяйство чувствовалось в руках, как туго натянутые вожжи.

Теперь, будучи членом правления, значит, старшим хозяином, он выходил в поля и узнал, что для хозяйского носа зреющий хлеб пахнет совсем по-другому, чем для батрацкого. Проверил Кузьма Андреевич сбрую, не пересохла ли в дульном сарае, гладил жеребца, пуская большой палец по желобчатому крупу, отчего жеребец поджимался и дрыгал задней ногой; щупал Кузьма Андреевич животы у кобыл и коров, давал взбучки нерадивым сторожам, и знал при этом, что никто не посмеет сказать ему: «Полез, старый хрен, в чужие сани», как сказал однажды кулак Хрулин, потный, красный и меднолицкий, похожий на усатый самовар.

Большое лежало перед Кузьмой Андреевичем хозяйство; чувствовал он в руках выструганные вожжи.

## 10

Мужики сидели на крыльце правления, ждали председателя, который еще вчера уехал в район.

Темнело. Над речкой Беспутой густо поднимался туман, затапливал побережье; казалось, деревья, как в половодье, растут прямо из воды. Сиреневые, четко вырезанные облака стояли на западе, зеленоватые просветы между ними то и дело перечеркивала летучая мышь.

По бревенчатому мосту кованым прыгающим смехом раскатилась телега, и рухнули во второй раз мечты Кузьмы Андреевича о хрулинском доме.

Гаврила Степанович привез с собой доктора. Мужики гурьбой отправились вслед за телегой к амбулатории.

Представительностью фигуры, солидным блеском очков в роговой оправе, зычным, утробным голосом доктор сразу расположил к себе мужиков. Он легко поднял кожаные с медными сияющими замками чемоданы, внес на крыльцо и пошел вместе с председателем осматривать амбулаторию.

Тимофей Пронин прикинул тяжесть чемоданов: в каждом было пуда по три.

— Здоровый!—вполголоса сообщил Тимофей.

Мужики значительно переглянулись. Кто-то подтвердил:

— Мужчина видный.

А Тимофей, вспомнив о своей грыже, охнул и присел, схватившись за живот. В правой стороне, в самом низу, действительно что-то заняло, но Тимофей не верил в эту боль и думал в тревоге, пошлет его председатель на вторичный осмотр или не пошлет, Как будет осматривать доктор—издали, подобно фельдшеру, или вблизи? Удовлетворится ли доктор одним гусем, может быть, потребует пару?

Очень боялся Тимофей потерять свою тихую пристань на скотном дворе.

Вышел доктор. Сказал:

— Товарищи, помните: чем раньше захватишь болезнь, тем легче ее лечить. Прошу заходить в амбулаторию без стеснения во всякое время дня и ночи.

— Покорнейше благодарим,—ответил Тимофей, низко кланяясь, заранее располагая к себе доктора.

Гаврила Степанович тем временем перетаскивал докторские чемоданы, нес их бережно, как младенцев,—не ударить бы, не поцарапать.

Доктор стоял перед мужиками, большой и жилистый; стекла его очков отблескивали зеленым, отражая темную листву рябинника; брезентовые сапоги лопнули над задниками и очень некрасиво, как заячьи уши, торчали оттуда смятые углы серых портянок. На круглой докторской голове густо рос черный, коротко стриженный волос; голова казалась бархатной.

— Только, пожалуйста, никаких подарков в амбулаторию не носить,—добавил он:—все равно не возьму.

«Тонкой»,—подумал Тимофей, подбодрившись. Последние слова доктора он понял иносказательно: в амбулаторию ходи без подарков, а вечером, значит, забеги на минутку с заднего крыльца.

В приемной и в двух комнатах, примыкавших к ней, всюду в изобилии остались нечистоплотные следы фельдшера: давленные клопы, окурки, плевки, обглоданные кости, заскорузлые, до блеска затертые портянки.

Доктор вышел спать на террасу. Он долго ворочался, раздумывая о своей бродяжьей судьбе.

Два года тому назад доктор окончил московский институт и получил путевку в район. Старый испытанный друг провожал доктора на вокзал. В Москве начиналась весна. В просветах между бетоном, стеклом и железом был хорошо виден небесный ледоход. Дворники чистили метлами сточные люки, на мокром асфальте клейко шипели автомобильные шины, народ шел по улицам густо, как рыба в весенней реке, трамвай подолгу стоял на каждом перекрестке.

— Тебе не повезло, Алексей,—сказал друг, голос его прозвучал лицемерно: друг жалел доктора, покидающего веселую Москву, и в то же время радовался, что не ему досталась путевка.

Доктор почувствовал враждебность к своему эгоистичному другу и сухо ответил:

— Не всем же веселиться в Москве, надо кому-нибудь и работать.

— Ты прав!—театрально воскликнул друг.—Ты едешь на большое дело! И может быть, твоя жизнь будет полнее моей!

На прощание доктор жестяными губами поцеловал друга. С тех пор доктор ни разу не выезжал из деревни, его перебрасывали из района в район, из больницы в больницу, отпуска не давали. Он узнавал о Москве только по газетам и письмам.

Деревня очень наскучила ему за два года. Не совсем ошибался председатель Гаврила Степанович, приписывая горожанам неистребимую страсть к театрам.

## 12

Пололи картошку. Бабы шли шеренгой, выдирая мягкий лягушатник. Гаврила Степанович тихо позвал:

— Устя.

Она выпрямилась и тыльной стороной ладони сбросила с высокого лба густой пот. Даже брови у нее были мокрыми.

— Иди-ка, Устя, к доктору. Уборщицу требует.

Торопясь успокоить ее, председатель добавил:

— Человек культурный. Не полезет.

Она повела карим горячим глазом. Усмешка приподняла углы ее губ.

— Эге!—развеселился председатель.—Да ты, я вижу, не прочь! Смотри, баба, не вырос бы у тебя напереду горб!

— Не вырастет, — уверено сказала она. — Иттить, что ли?

Ее собственная изба сгорела в позапрошлом году. Теперь Устинья жила у старухи Трофимовны за шесть рублей в месяц.

Устинья повернула ключ; протяжно загудел замок; крышка плотно набитого сундука пружинисто отошла. Устинья достала новую кофту с голубым цветком по розовому полю, начистила сажей ботинки и, нарядная, пошла к доктору.

Зря старалась она, прихорашивалась. Сейчас же пришлось бежать домой, переодеваться; доктор затеял генеральную уборку.

Кипел бак, урчал самовар, с шипением оседала в тазу мыльная пена. Доктор без пиджака, в одной рубашке, таскал дымящиеся ведра. Устинья хлестала кипятком во все щели, пазы и карнизы, выпаривая клопов и тараканов. А доктор, натужившись, взял да и принес весь шестиведерный бак сразу и грохнул его перед Устиньей, выплеснув половину на пол.

— Небось, тяжело? — замирая, спросила Устинья.

— Я здоровый, — ответил доктор. — Я раньше грузчиком на пристанях работал.

На его больших ладонях краснели рубцы от узких ручек тяжелого бака. Грудь его была покрыта мягким и желтым волосом. Он развел широкие плечи, снял очки; глаза у него были как у цыгана, озорные.

— Неужто из грузчиков в доктора можно? — почти прошептала Устинья.

А сердце ее сжималось и падало все ниже; в груди она чувствовала томительную пустоту.

— Ниче все можно, — сказал доктор, исподтишка посмотрел на нее, и тут она поняла, что пришел конец ее честному вдовствованию.

Была она женщина решительная, в поступках прямая, бабьих языков не боялась, имела свой — ух какой вострый! Она сказала доктору, что переедет жить в амбулаторию, в третью маленькую комнату, где стоит русская печь. Шесть рублей останутся каждый месяц в кармане. Доктор охотно согласился, договорился о личных услугах: самовар, уборка в его комнате, обед, и положил за это сверх жалованья, от себя, пятнадцать рублей в месяц.

Доктор не обманул мужицких ожиданий. В какую-нибудь неделю он свел лишан у сынишки Ефима Панкратьева, председателю дал бутылку соленых капель, и ревматический зуд в председательских ногах прекратился.

С чирьями и прочей нечистью доктор справлялся в две минуты—ножом; скрипнет мужик зубами—и здоров...

Выйдет мужик, прислушается к своему телу—боли нет; успокоение сойдет на мужика, и снова красивым и милым видит он своей деревенский мир: и волнистые пряди облаков на светлой заре, и спящую смолистую мглу в сосновом бору, и светлый пруд, в котором плавают, роняя тонкий пух и переворачиваясь задницами кверху, разговорчивые домашние утки.

Значительно покачает головой мужик, оглянется на амбулаторию и скажет в пустое пространство:

— Да-а-а...

Особенно поправился доктор бабам. Он устроил закрытое бабье собрание. О чем толковал он целых три часа—неизвестно, но вышли бабы все умиленные, а Настёнка Федосова и Груня Зверькова с удостоверениями, в которых говорилось, что «ввиду беременности означенных гражданок надлежит поручать им работу, не требующую чрезмерного физического напряжения».

Это неправильно говорят, что дурная слава по дорожкам бежит, а хорошая камнем лежит. В наше время наоборот,—иной раз о дурной славе знает только суд да тюрьма, а уж хорошая до всякого дойдет, будь он хоть от рождения глухой. На пальцах расскажут.

С самого раннего утра сходились к амбулатории люди,— за восемь верст шли, и за десять, и с каждым днем все больше и больше.

— Вот это доктор!—восхищенно говорил председатель на заседаниях правления. И сейчас же серая тень ложилась на его рябое лицо.—Только, боюсь, убежит. Чует мое сердце. Хоть и хороший он человек, а без театра не может. Ты смотри: счетовод сбежал, второй счетовод сбежал, фельдшер сбежал.

Он загибал короткие пальцы; средний, раздавленный молотилкой, ходил на клешню.

Кузьма Андреевич, насторожившись, придвигался ближе к столу.

— Театр их, верно, как магнитой тянет,—рассуждали

правленцы. — Что ж нам теперь, на цепь его сажать? Захочет, так уедет.

Зеленый и плотный стоит в правлении махорочный дым. Смотрят мужики через этот дым, как водяные.

— Слышал я, он из грузчиков, — задумчиво говорит председатель. — Надо его, по сознанию ударить. Жить ему, ровно, у нас неплохо. Он от какой коровы молоко берет?

— От Зорьки.

— Надо бы от Красульки. У нее молоко жирнее.

На следующем заседании тот же разговор:

— Масла сколько он получает у нас?

— Кило даем.

— Может, не хватает. Надо хорошевым сказать, пуцай от себя кило носят.

Только три человека во всей округе хотели поскорее спровадить доктора: Кузьма Андреевич, по причинам, уже известным читателю, Тимофей, боявшийся вторичного осмотра, да еще знахарь Кирилл.

Погибель пришла Кириллу. Уже два раза доктор навещал его и, угрожая милицией, строго-настрого запретил даже притрогиваться к больным. Жить нечем. Редко-редко зайдет какая-нибудь старушонка, принесет десяток яиц. Да и старушонку лечи с оглядкой: вот-вот доктор узнает, шагнет, пригнувшись, в низенькую дверь, блеснет очками и разгонит своим гулким басом всех тараканов, что привыкли к мирному запаху тысячелистника и к дребезжающему тенору Кирилла, распевającego божественные стихи.

Осень стояла теплая, насквозь солнечная. Пожелтел осинник в овраге, прибрежные вербы роняли листья в светлую воду. Много уродилось грибов. С утра уходили ребятишки с посошками и корзинами и целый день звонко перекликались в прозрачном лесу. На просеках кормились тетеревиные выводки и пугали ребятишек, вырываясь из-под самых ног.

Уборку начали дружно: и лобогрейками, и серпами, и косами. Скирды стояли, как большие соломенные крыши, опущенные прямо на землю. Летела, завиваясь, осенняя паутина, оседала на скирдах, таяла, наплывая на белое облако, вспыхивала под закатным косым лучом.

Колхозники почернели, осунулись,—засеяли много, уро-дилось вот как хорошо, вроде бы и не под силу убрать, а бро-сить нельзя. Кузьма Андреевич, возглавлявший бригаду косцов, был приучен многолетней нуждой к бережливости и скорей бы умер, чем оставил на поле хоть один колос.

На рассвете пускали молотилку. Она гудела ровни и ясно весь день. Доктор так привык к ее гулу, что, когда она оста-навливалась, тревожно поднимал круглую бархатную го-лову.

Зерно было сухим; его везли на элеватор прямо из-под молотилки. Размятые, выпачканные дегтем колосья лежали в расхлябанных колеях.

Один только Тимофей равнодушно смотрел на желтое колхозное богатство, волнующееся под ветром. Он попрежнему спал на шелковистой соломе в душной темноте коровника. Время от времени он доставал из-за божницы справку о гры-же и перечитывал ее, с благодарностью вспоминая специали-ста по нервным и психическим. Недавно сходил он на стан-цию, договорился о малярной работе и теперь приводил в порядок свои краски и кисти.

...В эти горячие дни собралась помирать старуха Кузьмы Андреевича. Работая, она жаловалась на боль в груди, к вечеру слегла, посеревшая, прыгающая в ознобе. А доктора, как нарочно, еще в полдень увезли на телеге к тяжелоболь-ному в Зеленовку.

— Помираю, Кузьма,—прошептала старуха и притихла, только скребла пальцами, словно хотела забрать в сухую горсть все одеяло.

Кузьма Андреевич затормошился, забегал. Старуха дви-жением губ, без голоса, приказала:

— Сядь.

Он сел, боясь взглянуть на ее лицо. Она дышала с хрипом. Он открыл окошко. Ледяной свет заливал деревню, тени под избами лежали, как ямы.

— Умираю... Ох, Кузьма!..

Ее глаза были такими же черными и блестящими, как в молодости. Воспоминание толкнуло Кузьму Андреевича в самое сердце. Старуха, бледно улынувшись, пожалела его:

— Ты не бойся, Кузьма... Тебе одному... ох, не долго...

За окном расходился ветер, шевелил своим холодным ды-ханием низкие звезды. Где-то, очень далеко, гром неспеша проламывал сырое небо. Кузьма Андреевич искоса взглянул

на старуху. Глаза ее померкли, нос заострился. Ему вдруг представилось, что он видит ее в гробу.

— Пройдет,—сказал он, одержимый одним только желанием—услышать ее голос. Она молчала.—Пройдет!—требовательно и громко повторил он, схватил ее руку и немного успокоился, чувствуя живое тепло.

Старуха обязательно померла бы, задержись в Зеленовке доктор еще часа на два. Старуха уже совсем потеряла память, когда прибежал доктор—прямо с телеги, даже не умывшись. Он до утра сидел около старухи, впрыскивая камфору. Кузьма Андреевич не верил в успех лечения, но все же был очень благодарен доктору за такую заботливость и внимание.

Не померла старуха.

— Сердечный припадок,—сказал доктор, утомленно потягиваясь и собирая в чемоданчик лекарства.

Старуху начисто освободили от колхозной работы. Целыми днями сидела она у окошка, смотрела на деревню, знакомую ей до последней застрехи, и новое, изумленное выражение было в глазах ее.

Кузьма Андреевич разговаривал с ней почтительно и осторожно, словно близость смерти освятила ее. Кузьме Андреевичу страсть хотелось узнать, что думала и чувствовала она, умирая. Она охотно рассказала бы, но не могла вспомнить. Синее... вот и все....

Пристрастилась она с тех пор к свекольному: через день варила, благо был у Кузьмы Андреевича свой огородик.

## 15

Большим почетом пользовался доктор. Мужики приглашали его в гости, он наравне со всеми пил водку и несколько не пьянел. О себе доктор говорил, что никогда не хворает, и мужики охотно ему верили. Он мог двенадцать раз подряд перекреститься двухпудовой гирей; крест при этом он клал добросовестный—широкий и неторопливый, и гиря в его руке не дрожала. Нравилось еще, что ведет он разговор ученый, но всем понятный, а слова «психиатрия» не употребляет вовсе, хотя, по уверениям фельдшера, это—самое главное докторское слово.

«Про себя держит,—одобрительно думали мужики.— Так и нужно».

Кузьма Андреевич подружился с доктором и навещался

в амбулаторию, как в баню, два раза в неделю: по субботам и средам.

— Шестьдесят три годка, мил человек, шестьдесят три, — степенно говорил он, задирая пропотевшую рубаху. Но в запахе его пота не было старческой едкости, тело хранило еще дубовую крепость, легко выгибалась спина, широким гребнем стоял позвоночник, выступали на боках плотно влитые мускулы.

— А и адоров же ты, Кузьма Андреевич! — восхищенно кричал доктор, сразмаху опуская ладонь на его спину. Звук был влажным, на темной коже медленно проступал багровый отпечаток пятерни. — До ста лет проживешь, Кузьма Андреевич!

— Это как бог положит, — степенно говорил старик, — это — как бог. Я бы, Алексей Степанов, не прочь и двести, да ведь бог, поди, не допустит.

Кузьма Андреевич хмурился, и глаза у него становились сосредоточенными, как будто он заглядывал в себя самого. Голос тускнел.

— Смерть, она, мил человек, всякому... холодная. А у него, у бога, все наперед сосчитано: Севастьянов Кузьма Андреев зажмурится, а другой — младенец — сейчас на его место. Как же бог меня до ста лет может допустить? У него спутаница выйдет тогда.

— Я, значит, против бога иду? — спрашивал доктор. — Человек помирать собрался, а я его — цоп за хвост! — и вытащу с того света! «Врешь, мол, поживи еще!» Выходит — против бога?

— Об этом нужно с попом разговаривать, — серьезно отвечал Кузьма Андреевич, откидываясь на спинку стула, чтобы удобнее было выстукивать грудь.

Болезней доктор не находил, да Кузьма Андреевич и сам не жаловался на болезни. Доктор удивлялся его странной любви к лечению и не мог понять, что старик ходит в амбулаторию вовсе не за лечением: чем тщательнее осматривают и выслушивают его, тем больше он уважает себя. Заботы городского ученого доктора о его здоровьи льстят ему и дают уверенность в том, что он, Кузьма Андреевич, подлинно ценный и незаменимый человек для советского колхозного дела. Его даже огорчало, что он не хворает и не может лечиться по-настоящему. Когда вскочил у него пониже спины чирей, он прибежал к доктору сияющий.

Кроме того в этих еженедельных осмотрах он видел страховку от разных коварных болезней. С недавних пор он душно и тяжело боялся смерти: она могла настигнуть его врасплох, как старуху, и лишить простой человеческой радости, которую он впервые понял на шестьдесят четвертом году. Радость эта была и в полях, на которые смотрел он хозяйским глазом, и в почтительном обращении какого-нибудь мужика, и еще во многом, о чем Кузьма Андреевич не сумел бы даже рассказать.

И все-таки эта радость была неполной без нового дома.

16

Кузьма Андреевич был назначен ответственным за охрану урожая.

Вечером, расставив сторожей, он пришел к доктору в гости. Он пришел в тулупе с желтыми спаленными отворотами, в одной руке держал он фонарь, в другой—старую берданку, покрытую веснущатой ржавчиной, а кое-где оловянными заплатками.

Устинья гремела на крыльце самоварной трубой. Старик с удовольствием прислушался к этому звуку.

— Садиться я стал больно грузно,—пожаловался он, опускаясь на табуретку.—Земля тянет, Алексей Степанов. Пригибает меня земля.

На потолке желтел резко вырезанный кружочек лампового стекла; свет расходился вокруг широкими кольцами, постепенно рассеиваясь. Доктор, как всегда, угощал Кузьму Андреевича чаем. Вдвоем они выпили весь самовар. Старик вспотел и расстегнул ворот; шея его была сетчатой, казалось, она перетянута нитками.

— Разве это масло?—пренебрежительно сказал он.—Плохое от наших коров масло.

— Почему?—удивился доктор.—Очень хорошее масло, такого в городе нет.

— В городе!—подхватил Кузьма Андреевич.—В городе не житье, мил человек,—малина. А здесь одна «дярёвня» и дикость! И что сидишь ты, ровно привязанный?

Он долго и настороженно ждал ответа, но доктор всегда уклонялся от подобных бесед. Доктор попросил рассказать о старине. Кузьма Андреевич откашлялся и опустил тяжелые мясистые веки.

— Да... Старину я всю наскрозь помню... Годов мне все более, тело грузнее, а память светлее. О чем же сказать тебе?

— О Маркеле Авдеиче. Ты ведь мне до конца так и не рассказал.

— Жизни он решился в нашем селе, вот тебе и конец. Видишь ты, купил он имене у барина у нашего, Маркел-то Авдеич. А сам из купцов. Флегонтов было его фамилие. Холостой, конечно, а собой видный, черноусый. Но, верно, что лысый. От корысти сошел у него волос.

Начало истории о гибели Маркела Авдеича доктор знал уже наизусть, но молчал, понимая, что старику необходим разбег воспоминаний.

— Девкам, конечно, от его усов интерес, а мужики все одно злобствовали. Больно уж он штрафовать любил. Эту самую правило—кого штрафовать и на сколько денег—он вместо молитвы знал. Мы его просим: «Ослобони, Маркел Авдеич!» Куды там! Плати—и более никаких. Куды ж податься? Плотим. Все до копейки соберет—своего не упустит, да и чужого прихватит. Он, покойник, свою пользу понимал, не то, что у нас—вовсе без понятия народ! Третьедни роют бабы морковку—на баржу грузить. Я, конечно, считаю. Идет мужик хорошевский с корзиной, кричит: «Бабы, дайте морковки!» Она ему—раз полную корзину! Я тут к ней! «Какое ты,—говорю,—имеешь право? Морковка не твоя, колхозная морковка!»

Воодушевившись, старик сильно хлестнул по докторскому колену своей тяжелой ладонью.

— «Сыпь,—кричу мужику,—взад!» Меня же баба та, Прокофьевна, и обругала матерным словом. Какое же в ней понятие? Опять же возьми мешки. Нехватка ведь, а бросили на улице. Ребятишки, знамо, бредни поделали...

— Значит, прижимал он вас крепко, этот Маркел Авдеич,—перебил доктор, возвращая старика к прежней теме.

Кузьма Андреевич закрыл глаза. На стене чернел его большой профиль, изломанный в тех местах, где полукружья бревен смыкались.

— Крепко прижимал, лысый бес. Так и жил на мужицкой шее и никакого стеснения себе не имел. У мужиков, скажи, не только что коровенку—овцу некуда выгнать, а Маркел-то Авдеич все раздувает хозяйство: у него тебе и скот, и хлеб, и маслобойка. Молоко возил на продажу. Молоко это завсегда барышное дело, ежели глаз иметь. Мо-

локо вещество норовистое, для надзору за ним человека ставить нужно, а не чурбак. При Устинье-то все гладко шло, а нынче летом поставили Фильку Мосягина. Киснет, скажи, у него молоко, да и на! Уж мы и туды и сюды,—киснет! Убыток принимаем!

— Кузьма Андреевич,—остановил его доктор,—ты мне про молоко уж рассказывал.

— Когда?—недоверчиво спросил старик.—Нет, мил человек, я тебе про другое сказывал. Я тебе сказывал, как у нас картошка взопрела. Захожу в яму, беру картошку, а она сладкая; гнилым теплом от нее так и пышет. Ах ты, горе! Разве мысленно! Убыток.

— Слышал я про картошку,—снова остановил его доктор.—Ты про старину расскажи.

— А я про что?—удивился Кузьма Андреевич.—Я тебе про старину и сказываю. О картошке—это к слову. Вот, значит, слушай про старину: я, мил человек, любитель про нее сказывать—пятерку заработал. Верно. Городской один дал мне пятерку, поидравился ему. Да-а-а... Стоят у него, у этого Маркела Авдееча, кругом сторожа; народ подобрал он лютой, чужестранный народ, глазастый. По ночам он, значит, ходит, самолично сторожей поверяет, нет ли где поправы, али порубки. Эх! и боялись его сторожа. У него не поспишь—враз достигнет! Он бы с этого, с Тимофея бы Пронина, шкуру снял! Страмота ведь! Захожу третьеди на скотный двор—тихо. Спит он, Тимофей-то; выскочил навстречу, а глазища мутные. Поднялось тут во мне сердце... «Как ты,—говорю,—имеешь полное право спать на охране колхозного скота?» А он: «Твоего,—говорит,—дела нет!»—«Как так нет? Я тебе кто? Членов правления ты слушать должен?..» Тут я, конечно...

Доктор понял, что и сегодня не услышит конца истории о гибели Маркела Авдеевича. Доктор взглянул на часы. Тускло поблескивая, струилась их медная цепь.

— Двенадцать без десяти.

Старик натянул тулуп.

— Пойти-те сторожей поглядеть. Потом доскажу, Алексей Степанов. Я тебе много про старину могу сказать. Я ее всю наскрозь впжу, как в озере.

Доктор проводил его. Ветер шел густой и ровный, как река; глухо гудели вершины старых берез. Крыльцо качалось под ногами плавно как лодка. Кузьма Андреевич встрево-

жился; при скудном свете фонаря долго осматривал перила и столбы. Наконец огорченно сказал:

— Чтой ты, Алексей Степанов, плохо за мужиками глядишь? Вяжут закрыльцо лошадей: столбы растревожили. Ты—гоний... Коновязь, что ли, поставить им?

И добавил без всякой видимой связи:

— Тебе, конечно, скучно в деревне. Театров здесь нет, а разве ученому человеку мыслимо, чтобы без театра? Там тебе сейчас на гитаре сыграют, русского спляшут, покажут женщину-паук...

Он ушел, жестко пошуркивая тулупом, веером расстилая перед собой свет фонаря.

17

Настёнка Федосова бойко выбирала отглаженную ладонями жердь. Поскрипывал журавль, постукивала бадья и роняла в сырую и темную глубину гулкые всплески. Устинья стояла здесь же. Новое расписное коромысло лежало у ее ног. Дожидаюсь очереди, она разговаривала с бабами о докторе. Мосевна спросила:

— Не страшно тебе, бабынька? Он ведь вон какой здоровущий. Враз сломит.

Устинья молчала, глядя на широкую, выгнутую струю, расцвеченную зыбкой радугой.

— Он, поди, на деревенских-то и не смотрит!—сказала Настёнка.

Голос ее, показалось Устинье, звучит насмешливо: де, мол, плюет он на твою красоту. Укладывая на полное плечо коромысло, Устинья ответила:

— На кого, может, и не посмотрит, а к иным каждую ночь ходит.

И пошла—медленно, с потяготой, чуть сгибаясь под тяжестью ведер, и все бабы завистливо подумали, что около нее ни один мужик не удержится, будь он хоть десять раз ученый. И долго судачили бабы у колодца, а к вечеру вся деревня знала, что доктор живет с Устиньей.

Кузьма Андреевич услышал эту новость на правленском собрании, где председатель шопотом сообщил:

— Смотри-ка... Может, на зиму останется у нас. Баба-то больно хороша: жалко бросить такую.

Кузьма Андреевич обеспокоился и помрачнел. Выбрав час, когда доктора не было дома, Кузьма Андреевич нагрянул к

Устишье. Она причесывалась на ночь; синие волосы спокойной волной текли на ее голые плечи.

— Как оно, здоровьишко-то, Устя?

— Спасибо.

— Ну и слава богу. Доктор-то где?

— Придет.

Молчание. Кузьма Андреевич кашлянул, начал зачем-то расспрашивать, много ли ходит больных, сильно ли устает доктор. И очень довольный своей хитростью, что подъехал так ловко, на кривой, сказал:

— Дверь у тебя, Устя, без крючка. Не боишься ночью?

— Непугливая,—ответила она, заплетая косу.

Никакой другой хитрости Кузьма Андреевич выдумать не мог и спросил напрямки:

— Доктор-то, говорят, живет с тобой?

— А что я—порченная?—ответила она, похваляясь.—Со мной любой будет жить. Хочешь, тебя отобью у старухи?

— Эх, Устя! Не уберегла ты себя, Устя!—сказал Кузьма Андреевич с притворным сокрушением и вышел, досадуя на бабью слабость.

Он задержался в темных сенях: не мог найти выхода. Вдруг дверь открылась, вошел Тимофей.

— Устя, где ты?—спросил он, не заметив Кузьму Андреевича. Вторую дверь в комнату, он закрыл за собой неплотно; темноту прокалывало узкое шило желтого света. Кузьма Андреевич на цыпочках подошел к двери.

Голос Тимофея:

— Как оно, здоровьишко, Устя?

Голос Устишьи:

— Спасибо.

Голос Тимофея:

— Ну и слава богу. Доктор-то где?

Голос Устишьи:

— Придет.

Молчание. Потом снова вкрадчивый голос Тимофея:

— Что ж ты, Устя, на дверь крючок не повесишь? Ночью-то страшно... одной.

— Непугливая,—сердито ответила Устишья.—Ишь, ходят, выштыывают. Ну и живем, тебе-то что? Ай ревность? Я вот бабе-то скажу: она тебе бороденку повыдергает!

— Эх, Устя,—вдохнул Тимофей,—не уберегла ты себя, Устя... -

— Иди! Нашли монахиню. Для вас, что ли, псов, беречь!

Так были сделаны Кузьмой Андреевичем два открытия. Во-первых, подтвердились подозрения, что Тимофей боится вторичного осмотра. К этому Кузьма Андреевич отнесся бы спокойно и деловито, если бы из первого открытия не вытекало с неумолимой ясностью второе—что лодырь Тимофей и всеми уважаемый лучший ударник Кузьма Андреевич имеют одно желание—поскорее спровадить доктора из деревни. Такая общность желаний как бы уравнивала их, что было для Кузьмы Андреевича непереносимо оскорбительным. Всю ночь злобился он на Тимофея; утром нашел председателя и сказал ему, что в колхозе потекают лодырям, что он, Кузьма Андреевич, сорок лет кормил кулака Хрулина, а теперь, при советской власти, не согласен кормить «всяких подобных», которые беззаботно отдыхают в коровниках, да и там не караулят, а спят.

Разговор происходил в сбруйном сарае, в густом дегтярном полусумраке.

— Дурит мужик,—сказал Гаврила Степанович.—А ведь бедняк!—И вдруг—удивился:—Ведь бедняк! Ты мне вот что растолкуй, Кузьма Андреевич. Ведь бедняк! Сегодня же пусть идет в амбулаторию.

Зная Тимофееву хитрость, Кузьма Андреевич заранее поговорил с доктором.

— И всегда он кричит: «Я ерманской войны герой, медаль имею!» Медаль он, верно, что имеет, только никакого геройства он не исполнил и медаль тот получил за ловкое слово. От страха, что ли, он это слово енералу ляпнул? Многосемейный он—восемь душ. Енерал-то спросил: «Что ты больно стараешься, рядовой Тимофей Пронин?» А он енералу в ответ: «Ваше превосходительство! Солдат плодovit быть должен!» И руку держит под козырек по всей форме. Енерал тот очень был толстый, чуть не упал от смеху. «Ну,—говорит,—молодец рядовой Тимофей Пронин, обязанность свою земную здорово исполняешь!» И дал Тимофееву за это ловкое слово медаль. А чтоб геройство, Тимофей врет; никакого он геройства не исполнил и медаль тот получил зря..

Опасаясь, что эти слова покажутся доктору слишком пристрастными, Кузьма Андреевич добавил:

— А может, и не зря... Может, енерал большого ума был человек. Может, он так рассудил: раз ты людей неприятельных уничтожаешь по моему приказу, то должён столько же новых младенцев представить, чтобы не было на земле беспорядку и спутаницы. Только навряд ли... Енералы в это дело не вникали; в это вникали больше попы. А насчет килы он, Тимофей, обязательно врет. Ежли от злоехидства, он всю ночь напролет работать может: подпорки ставить... али там колья вбивать....

Прощаясь, Кузьма Андреевич вдруг сказал сердито и убежденно:

— А только городские бабы все одно лучше нашенских!

19

Тимофей пришел к доктору, фальшиво горбясь, поддерживая обеими руками живот, словно боялся, что вывалится на землю его кила.

Доктор осматривал Тимофея в присутствии Кузьмы Андреевича и председателя. Тимофей расстегнул штаны. Складываясь гармошкой, они медленно сползали на пыльные, рыжие сапоги. Тимофей лег на кушетку и задрал рубаху. Живот у него был бледный и выпуклый. «Ой, ой!»—закричал Тимофей, как только доктор подошел к нему.

Он кричал, не переставая, даже тогда, когда доктор прикасался к его ногам. Он кричал равнодушно и безразлично: он заранее знал, что не сумеет обмануть доктора.

— Врешь,—морщился доктор,—помолчи ты хоть одну минутку: в ушах звенит... А вот сейчас должен ты кричать,—ведь больно?

— Ой, ой!—скучным голосом ответил Тимофей.

Доктор сильнее надавил на его живот. Тимофей взвился и заорал по-настоящему: утробным звериным воем.

— Ну что ж, Тимофей,—сказал доктор,—плохе твои дела.

— Ей-богу, болит!

Бледная тень Тимофея падала доктору в ноги. Жалко дергалась бороденка. Руками он поддерживал незастегнутые штаны.

— Плохое дело,—повторил доктор:—придется, милый, ложиться тебе на операцию: кишку вырезать.

Нижняя челюсть Тимофея отвисла. Штаны, складываясь гармошкой, снова сползли на сапоги.

— Да, да,—подтвердил доктор.—Неожиданно? Что же делать? Апендицит, милый, и очень запущенный апендицит. В любое время возможно гнойное воспаление. Собственную смерть ты носишь в себе, Тимофей. Резать нужно.

Тимофей стоял белый и недвижимый.

— Рез.. рез...—он никак не мог выговорить страшного слова. Председатель укоризненно смотрел на Кузьму Андреевича.—Резать!—вдруг завопил Тимофей тонко, с надрывом, по-бабы, и рухнул на колени, словно подломились его хилые ноги.

Захлебываясь, он каялся в своем притворстве; рассказал о гусе, которого подарил фельдшеру за справку. Он обещал работать вдвое против остальных, только бы не посылали его резаться. Доктор был неумолим.

— Помрешь, если не поедешь,—отвечал он.—И ехать нужно тебе немедленно.

Тимофей в отчаянии бросился к председателю.

— Щучий ты сын,—задумчиво сказал председатель, потирая скрипучую голову.—А оно, брат, обернулось другим боком. И так, я полагаю, Тимофей, что эта вредная стерва завелась в твоём брюхе от безделья. Теперь вот казись. Иди-ка, брат, домой да собирай мешок. А я Силантию Гнедову скажу, чтобы запрягал подводу...

— Не поеду!—завопил Тимофей.—Не дамся!

— Не дури!—закричал председатель.—Ишь ты! А помрешь, куда мы твоих семь душ денем? Тебя кормили, лодыря, а потом их!.. Поезжай!

Тимофея провожала вся семья. Он сидел на подводе серьезный, хмурый и молчаливый. Тоскующими глазами он смотрел на свою избенку.

— Прощайте, православные!—закричал он.—Лихом не помняйте!

Баба завыла, а за ней и ребятишки.

— Краски мои береги, Аксинья!—крикнул Тимофей уже издали.—Ежли не вернусь, дешево не продава-а-ай!

Телега скрылась под косогором, а минуту спустя загрохотала по бревенчатому мосту.

Три дня подряд доктор просыпался чуть свет: железная крыша булькала, переливалась и хрустела под тяжелыми сапогами Кузьмы Андреевича.

Наконец были заделаны все прорубины. Доктор решил в эту ночь лечь пораньше и выспаться как следует. Устинья долго возилась в комнате, вытирая посуду и стол.

Доктор пошел за ней следом, чтобы запереть дверь. Как всегда, она задержалась в дверях, посмотрела влажными, потемневшими глазами. Доктора повело судорогой. Тяжелая кровь ходила, толкаясь, в его большом теле. Он ждал, опустив голову, ломая желание.

Наконец Устинья вышла, легонько задев его локтем.

Накинув крючок, доктор быстро разделся и лег.

— Чорт знает что!—шопотом говорил он и не мог уснуть, томимый грешными мыслями. Он знал, что может пройти через приемную в ее комнату и не встретит отказа. Очень ясно он представил себе, как прыгнет в приемной зыбкая половица и затаенно звякнут склянки с медикаментами.—Чорт знает что!—повторил он, ворочаясь на койке: она вздрагивала и визжала под его сильными телом.

Зря сболтнула у колодца Устинья. Не жил с ней доктор и даже не лез. Сначала это казалось ей странным, потом обидным. Доктор правился ей, иногда она ловила его воровские, горячие взгляды, но были они таким короткими, что Устинья даже не успевала ответить на них улыбкой. Наступал вечер, доктор запирали дверь и оставался один в комнате. Ни разу не попытался он задержать Устинью, наоборот, выпроваживал ее поскорей. Ночью она плакала в любовной тоске, но о своей обиде никому не говорила—из гордости. Если уж очень приставали с расспросами, коротко отвечала: «Живет».

А доктор сдерживался по двум причинам. Сначала мешали соображения этические—служебное старшинство, а потом добавились практические соображения. Доктор подумывал о Москве, заготовил сдаточные ведомости по амбулатории и теперь вел себя так, чтобы при отъезде не возникло никаких, даже второстепенных задержек.

Недавно он написал своему московскому другу:

«Я работаю в деревне третий год. Это в конце концов несправедливо—загнать человека в глушь и держать его там до седых волос. Я хочу вернуться в Москву. Пускай теперь кто-нибудь другой поработает на моем месте. Связи у тебя есть. Очень прошу устроить мне перевод хотя бы в подмосковную больницу».

Московский друг ответил доктору так:

«Твое письмо пришлось как нельзя более кстати. Вскоре

открывается новая больница в Ленинской слободе. Я назначен заведующим и через неделю начну комплектовать штат. Больница будет образцовая, поэтому в Мосздраве ко мне относятся с почтением и вниманием. Я буду решительно настаивать на твоём переводе и нисколько не сомневаюсь в успехе. Приготовься и по первому сигналу немедленно выезжай, чтобы районщики не успели опомниться и задержать тебя».

Теперь доктор ждал решительного известия.

Гулкие удары топора разбудили его опять на рассвете. Не одеваясь, он подбежал к окну, сдвинул шпингалеты. Рама открылась сразу на оба раствора. Утро пахло морозом: рябина стряхивала на подоконник росу.

— Я, мил человек... Это все я стучу. Крыльцо вот подправляю. Опять раскачали мужики.

Оставляя на седой траве темнозеленые следы, подошел Кузьма Андреевич.

— Все чинишь, — растроганно сказал доктор. — Сознательный ты человек, Кузьма Андреевич. Как будто о своем доме заботишься.

Кузьма Андреевич смутился и поспешно отвел глаза.

— Крышу я тебе, Алексей Степанов, исправил... Крыльцо. Сделай теперь мне уважение.

— Всегда готов, — улыбнулся доктор, поднимая на пионерский образец руку.

В комнате гулял прохладный ветер, поскрипывала на петлях оконная рама, и, послушные ее движению, бегали по стене вверх и вниз солнечные зайчики.

— Беда мужикам пришла, — говорил Кузьма Андреевич, — ни тебе мешков, ни анбаров. Гаврила-то Степанов, председатель, в тридцатом году коммуной задумал жить. Ну, и были у кого анбарышки, так разобрали, а у меня и никогда его не было, анбара. Мой урожай, мил человек, в старое время в кисет вмещался, да и то не доверху. Нынче у нас по девять кил с половиной одного только хлеба на трудодень, да картошка, да свекла, да капуста. Куда сложишь? Гнедов-то Силантій хлебом всю горницу завалил, в сених картошка, а спит на дворе. Утренник его ухватит за пятку, ропчет: «Это, — говорит, — что за жизнь? Собачья это жизнь — во дворе спать...»

Доктор успел уже одеться, а Кузьма Андреевич все еще не дошел до существа своей просьбы.

— Трудней у нас много — моих триста семьдесят да старушных, поди, сотня. Избенку мою ты сам видел. Ну,

куды я все дену? А у тебя в амбулатории, Алексей Степанов, подлавка все одно свободная. Опять же пристройка. Дрова-то выкинуть бы, кто их возьмет?

— Пожалуйста!—ответил доктор.—Сделай милость.

Кузьма Андреевич ушел чрезвычайно довольный; ему казалось, что, занимая своим добром еще до отъезда доктора пристройку и подлавку, он как бы заранее вступает во владение хрулинским домом.

21

Через три недели Тимофей возвращался из больницы домой. Везде люди всегда словоохотливы, а соседи попались Тимофею хороше—рабочие с постройки нового железнодорожного моста. Узнав, что Тимофей перенес операцию, они освободили для него нижнюю полку, поили чаем, угощали папиросами. Самый старший из них—лысина была у него такая—глазам больно!—неторопливо беседовал с Тимофеем.

— Что же тебе резали-то?

— Брюхо... Болезнь моя... да... болезнь, доктор говорит, получилась у меня с надрыву. Видишь ты, завернули мы у себя в колхозе большое дело, а я... кгм... я, видишь ты... кгм... член правления. Теперьча уборка. У нас одних хлебов... кгм... пятьсот га.. Да... Ну, конечно, с утра до поздней ночи. Мужики и то говорят: «Отдохни, Тимофей Петрович, занеможешь, неровен час. Куды мы без тебя? Как овцы без пастуха». Да... «Некогда,—говорю,—братцы, как есть лозунг, чтобы все убрать». А сам, конечно, как есть член правления, должен показать пример. Как все равно в бою—первый. Я за это на ерманском еще фронте медаль получил. Вот, значит, с надрыву и приключилось в брюхе...

— Болезнь эта почетная,—сказал лысый.—Мы то же крепко работаем на мосту. Мне...

Тут лысый улыбнулся, весь просветлел:

— Мне грамоту дали почетную. Сварщик я...

— Нынче время такое,—подтвердил Тимофей.—Которых работников отличают. Закурить нет ли?

Четыре руки услужливо протянулись к нему; он взял все четыре папиросы—одну в рот, остальные про запас. Потом к нему протянулись четыре зажженные спички. Он закурил у лысого, оказывая ему уважение.

— Да-а... Хлеба, чтоб не соврать, выйдет у нас кил по двенадцать на трудодень. Колхоз наш ударный, на весь район

колхоз. Вот только берет сомнение,—как там управились мужики без меня. Я, когда уезжал, им наказывал: «Держитесь, мол, крепче, мужики, чтобы поля у вас были чистые!..» Эх, и провожали они меня! Слезами залились!

Поезд шел под уклон, грохотал и ревел; лошадь на далеком холме настороженно подняла голову. Рядом с поездом, высунув длинный, фланелевый язык, мчалась, растягиваясь от напряжения, черная собака. Плыли выбритые поля, деревни, церкви с ободранными куполами, без крестов, и такие же белые, как церкви, силосные башни. Потом—все медленнее—склады, цинковый элеватор, красные и зеленые вагоны—остановка. Лысый послал одного из своих товарищей за кипятком. У Тимофея не было кружки. Лысый подал ему свою.

— Чайку... Петро, ты в городе конфеты покупал. Угости товарища колхозника. Бери, бери, Тимофей Петрович, не стесняйся.

Тимофей взял целую горсть и спрятал в карман.

— Опять же силосная башня. В ней тоже надо иметь понятие, в силосной башне. В нашей, к примеру, вода. Силос в прошлом году пропал. Я сейчас обсмотрел, прокопал траншею, отвел воду...

Поезд тронулся. Вошел, несмело озираясь, мужик с котомкой за плечами. Из дыр его полушубка торчала жесткая рыжая овчина; такая же овчина росла на сером его лице. Босые ноги мужика были совершенно черными.

Мужик нерешительно присел на кончик скамейки.

— Далеко?—спросил лысый.

Мужик привстал и сипло ответил:

— Домой.

— Куда?

— В Егоршино, в деревню,— снова привстал мужик.

— В колхоз?

Мужик молчал, глядя в окно. Там—дождь, серые столбы, истерзанные клочья паровозного дыма, мертвенно-белого на темнеющем небе. Утомительно и равномерно—ниже и выше и опять ниже—тянутся провода.

— В колхоз?—повторил лысый.

Мужик съежился, точно хотели его ударить, и привстал.

— В колхоз!—сказал он с отчаянностью.— Вишиться.

— Выгнанный?

— Выгнанный... Да только не по закону, меня выгнали! Все одно не по закону!

Слова он отщелкивал сухо и быстро. Из дымного полумрака жестко поблескивали его глаза. У него были страшные глаза: голые, без ресниц, окаймленные красным. Его короткие тупые пальцы бегали по худым коленям.

— Я не отказываюсь, я признаю,—лодырничество... Обшибся человек! Только нет такого закону, чтобы гнать с первого разу!

Густо загудел паровоз. Лязгнул мост, мелькнул в окне железным переплетом.

— А куда ездил?—спросил лысый.

— Везде был... Мы по плотничному делу. Не берут никуда без справки. Вот видишь...—Мужик фальшиво и резко засмеялся.—Видишь... пилу продал...—Он смеялся все громче.—Топор продал... А домой добираюсь... нынче вот домой... видишь...—И вдруг крикнул, с надрывом и слезой:—Христовым пменем!

И сам испугался своего выкрика, а может быть, наступившего молчания.

— Подайте, что милость!—сказал он громко с издевкой.—Подайте на пропитание!

Он даже не протягивал руки, зная, что не дадут. И ему действительно не подали.

— Объясни, Тимофей Петрович,—сказал лысый.—Темнота....

Тимофей закашлялся:

— Да... кгм... так-то...—Непонятное смущение мешало ему говорить. Наконец он пересилил себя.—Да... за свои грехи, известно. Которые лодыри, им завсегда плохо. А вот я, как ударник, то обул, одет и лечат бесплатно...

Мужик посмотрел на Тимофея пронзительными глазами. Кривая усмешка повела его сухие, лиловые губы.

— Все ты врешь!—раздельно сказал мужик.—Я тебя по роже наскрозь вижу!

Тимофей не успел ответить: мужика накрыл кондуктор. На следующей остановке Тимофей прильнул к окну. Мужика велл в станцию. Он, видимо, уже привык к таким приключениям и был спокоен. Ветер пошевеливал пустую котомку на его спине, раздувал ветхую рубаху с натло протертыми локтями. Мокрый песок облепил его босые ноги.

Через пять минут он—такой же спокойный—вышел от дежурного на платформу, воровато оглянулся и нырнул под вагон. Тимофей перешел к противоположному окну. Му-

жик собирал окурки. Поезд уже был готов к отправлению, а он бесстрашно ползал под колесами: ему было все равно. Тогда Тимофей тайком, чтобы не увидел лысый, бросил в окно две конфеты и папиросу.

— Спасибо,—сказал мужик; он смотрел на Тимофея снизу; зубы у него были сизые, железные; острые скулы, казалось, могли прорвать сухую, натянутую до блеска кожу.

Поехали дальше. Народу в вагон набивалось все больше.

— Разлежся!—кричали Тимофею.

— Колхозный ударник,—строго вступался лысый.—Едет из больницы. Отойди, товарищ...

— Вон что,—мирозлюбиво отвечал пассажир,—ну, пушай лежит. Потеснитесь-ка, братцы.

В вагоне тепло. Народ лезет на головы друг другу. Глянцевитая темнота окна дважды отражает лампочку. Начинаются обычные вагонные споры и пересуды.

— Враки,—важно говорит Тимофей, поудобнее вытягиваясь на полке.—От ящура самое лучшее средство соль с дегтем. Уж я знаю. Я всю нашу колхозную скотину вылечил.

И народ внимательно слушает Тимофея... Так и ехал он всю дорогу, как в сказке, окруженный всеобщим уважением и заботой, забыл о том, кто есть он на самом деле, сам поверил в свое геройство и был счастлив.

Но всякой сказке приходит конец. Вышел Тимофей из теплого, веселого вагона в дождь, в темноту, на ветер. По мокрым рельсам бежали от паровоза красные отблески.

— Выздоровливай, Тимофей Петрович!—кричал лысый, а поезд, отстукивая, набирал скорость и все чаще тасовал на откосе желтые квадраты окон. На подножке последнего вагона Тимофей увидел рваного мужика. Он сидел скрючившись, пряча от дождя босые ноги, он мелькнул через полосу жидкого света,—исчез в темноте. И долго смотрел Тимофей вслед поезду; тускнели сигнальные огни: зеленый и красный. «Вот едет мужик без билета,—думал Тимофей,—дождем его сечет, продувает ветром, осыпает искрами; кругом—беззвездная мгла, железный скрежет и грохот. Никто мужика не жалеет, впереди—еще неизвестно что, возьмут ли обратно в колхоз? Очень тошно и одиноко рыжему мужику на подножке...»

А еще больше задумался Тимофей дома, когда после первых радостей встречи уселась вся его семья за обед. Головы ребячьи торчат над столом, словно капустные кочаны—и

такие же белые. Ближе два больших кочана—двояшки, потом поменьше, потом еще меньше; наконец шестой, самый маленький и сопливый кочан. Долго смотрел Тимофей на своих ребят и вдруг изумился:

— Баба! Ты погляди—шесть душ ведь! А?.. Когда только!..

— Лопают много,—вдохнула баба.—Растут.

На другой день Тимофей пошел к председателю.

— Живой?—обрадовался Гаврила Степанович.—Вырезали? Ну-ка, расскажи. Чай, и не помнишь.

— Помню все,—соврал Тимофей.—Расскажу опосля. Я насчет работы.

Председатель послал его к доктору; тот дал освобождение на целый месяц.

— Иди покуда обратно в коровник,—сказал Гаврила Степанович.

Вечером Тимофей лежал на своем привычном месте, в углу, на мягкой, скользкой соломе. Но заснуть Тимофей не мог: не милы ему были теперь и влажные вздохи коров и запах парного помета, каждые полчаса он выходил проверять замок. Он боялся, что снова застанут его спящим и тогда, припомнив прошлые грехи, обязательно исключат. Он бросит жену, ребят и поедет, как рыжий мужик, через сырую, холодную мглу, на скользкой подножке, и нигде не найдет куска хлеба, хотя в руках имеет малярное ремесло.

## 22

Этот роковой день, надолго запомнившийся и доктору, и Кузьме Андреевичу, и Устинье, начался обычным самоваром.

— Что варить нынче: щи или суп?—спросила Устинья.

Она совсем извелась и заметно похудела. Она смотрела на доктора ненавидящими глазами.

— Что хотите,—ответил доктор, позвякивая в стакане ложкой,—что хотите—мне безразлично.

В окно всунулась голова почтаря. Он положил на подоконник лиловый конверт.

— Ежли ответ будет, то скорее. Послезавтра я обернусь.

Он пошел дальше, помахивая березовой палочкой. Рыдающий собачий лай обозначал его путь.

Московский друг писал доктору:

«...все улажено. Теперь требуется только твое заявление, с какой-нибудь ссылкой на климатические условия. Присылай заявление немедленно и через неделю получишь перевод в Москву...»

— Чай простынет,—сказал Устинья.

Она вся изогнулась, заглядывая в письмо; она подозревала, что доктор переписывается с женщиной.

Доктор достал из чемодана постельные ремни.

— Григорий Зверьков, кажется, шорничает. Отдайте ему и попросите починить. Только поскорее.

Она протянула руку, но пальцев не сжала: ремни упали на пол и завились вокруг ее ног. Так она и стояла—безмолвная и пришибленная.

В приемной хлопнула дверь. Радуюсь поводу, доктор вышел.

Навстречу ему поднялась с широкой липовой скамейки старуха Трофимовна. Она поклонилась по-старинному, в пояс; рваная ее кацавейка взгорбилась.

— Рука ноет,—вдохнула она.—Нет никакого терпения. Ломить, сынок, до самого плеча.

Веки у нее были воспаленными; то-и-дело она смаргивала слезу. Фиолетовым глянцем отливала ее рука, грузная и толстая, как сырое полено. Пониже локтя белела язва с багровыми, рубчатыми краями.

— Опять у Кирилла была? — зловеще спросил доктор.

— Ась?—пискнула старуха, притворяясь глухой.

— Без руки останешься,—будет тебе «ась». Была у Кирилла? Ну, сознавайся!

Уже давно воевал доктор с этой старухой: она с тупым упрямством ходила и в амбулаторию и к знахарю, полагая, очевидно, что один лекарь хорошо, а два—еще лучше.

Доктор допрашивал ее с пристрастием. Она созналась:

— Ходила, сынок! Курочку отнесла.

— А я тебе говорил, а?... Говорил я тебе или нет?

Старуха не обнаружила никаких признаков раскаяния. Доктор обозлился.

— Иди! Что стоишь! Я после Кирилла лечить не буду!

Старуха равнодушно заголосила, и кряхтя, держась скрюченными пальцами за бревенчатую стену, встала на колени.

— Ш-ш-ш,—зашипел растерявшийся доктор, закрывая входную дверь.—Вставай! Ну, вставай!

Она продолжала голосить. Доктор поднял ее. Она висела на его руках, согнув колени в воздухе. Сбился ее синий изъеденный молью платок, рассыпались мутные космы. Доктор усадил ее на скамейку и, сердито пофыркивая, забинтовал руку.

— Готово,—сказал он, чувствуя на языке сладкий запах подоформа.—Ты, бабка, просто-напросто дура! А с этим мерзавцем я сегодня поговорю всерьез!

Старуха ушла, путаясь в тяжелых складках своей длинной домотканной юбки.

— Чорт знает что!—плюнул доктор.

Он достал из ящика рыхлую бумагу с мохнатым обрезом. За дверью, в его комнате, слышались сдержанные голоса Кузьмы и Устины. Слов доктор не мог разобрать, да и занят был совсем другим делом. Он писал заявления, диктуя себе вслух; перо визжало, цеплялось и разбрызгивало чернила.

Первое заявление—в Мосздрав о переводе—было очень коротким; второе—в милицию—едва уместилось на трех листах. Доктор вспомнил Кириллу все грехи: мальчика, которого пришлось положить в больницу, беременную женщину, едва не умершую от горшка, поставленного на живот, различные язвы, карбункулы и фурункулы и, наконец, упрямую старуху.

«Последний случай особенно показателен,—писал доктор,—и я, в целях охраны здоровья того малосознательного меньшинства населения, которое все еще продолжает пользоваться услугами бабок и знахарей, категорически требую немедленного удаления означенного знахаря Кирилла из района действия амбулатории».

Доктор перечел вслух эту заключительную фразу и остался доволен; она звучала внушительно и тяжеловесно, как в дипломатической ноте.

## 23

— Эдак, эдак,—говорил между тем Кузьма Андреевич.—Значит, взяла его без театров тоска...

Чтобы подчеркнуть свою полную незаинтересованность, он ковырял пальцем смолистый сучок в стене.

— Ты, Устя, молчи покуда.

— Как же так?

Голос ее, в котором явственно слышится женская оби-

да, вот-вот обломится. Под зеленой кофтой тяжело колышутся полные шары ее груди.

— Молчи,—повторил Кузьма Андреевич тоном значительным, но неопределенным.

Можно было подумать, что он знает способ оставить доктора в деревне. Устинья так и поняла его слова; обещала молчать. Ему было неловко смотреть в ее глаза, просветленные надеждой.

Председателя нашел он в правлении и попросил немедленно,—завтра или послезавтра,—выдать весь причитающийся хлеб и картошку. И в председательские глаза ему было неловко смотреть.

В полдень он вторично явился в амбулаторию вместе со своей старухой. Они освободили пристройку. Березовые дрова, запасенные еще кулаком Хрулиным, были сухими до звонкости и, падая на землю, подпрыгивали.

— Полезем на подлавку,—сказал Кузьма Андреевич.

Старуха робела на лестнице, подолгу нашаривала ногой ступеньки; лицо ее было напряженным; через каждый шаг она вздыхала:

— Ох, Кузьма...

На подлавке пахло птичьим пометом; было совершенно темно, и только близ слухового окна, куда проходил отраженный, рассеянный свет, бледно проступали балки, затканые паутиной, и угол какого-то продавленного ящика. Летучая мышь шарахнулась над головой Кузьмы Андреевича, выскочила и, ослепленная солнцем, пошла чертить черные углы и зигзаги в ясном, холодном небе.

Кузьма Андреевич шел ощупью, раздвигая руками плотную темноту, паутина назойливо липла к его лицу; должно быть, паутина и была виновата в том, что им овладело чувство безотчетной тяжести и тревоги. Все раздражало Кузьму Андреевича, а в особенности бестолково шаркающая походка старухи.

Приглядевшись, они взялись за работу. Старуха венчиком собирала мусор, а Кузьма Андреевич швырял его через слуховое окно на крышу. Слежавшийся мусор падал на железо с хрустким шрохом, подобно частому и мелкому граду; казалось, дом горит,—так густо клубилась пыль, подхватываемая ветром.

— Уедет...—заболеешь... да и помрешь,—тихонько всхлипывая, сказала старуха.

Кузьма Андреевич озлился на то, что она проникла в его мысли и грубо закричал:

— Мети, знай!

Его лопата гулко стучала в стенки слухового окна. Окончив работу, он застелил подставку соломой и дерюгами и спустился по лестнице вслед за старухой. Доктор чистил на крыльце свой пиджак. На солнце искрился жесткий волос платяной щетки; ветер заворачивал полы пиджака, точно любуясь черным, матовым блеском подкладки.

Кузьма Андреевич хотел подойти, поговорить, но остановился на полпути: сегодня доктор был неприятен ему. Кузьма Андреевич знал, что обязан радоваться его отъезду, которого ждал все лето, но радость заглушалась чувством большой обиды за то, что городские ученые люди так пренебрегают мужиками. Весной, провожая фельдшера, Кузьма Андреевич уже испытал однажды такое чувство; сегодня было оно во много раз сильнее, потому что Кузьма Андреевич научился уважать себя, а доктор уезжал как-то нехорошо, выказывая полное безразличие к здоровью и Кузьмы Андреевича и остальных колхозных мужиков.

Кузьма Андреевич прошел мимо доктора, пытаясь думать о печке, которую необходимо поставить в бывшей приемной, на тот случай, если отдадут не весь дом, а только половину.

— Заболеешь и помрешь,—повторила старуха, нагоняя его.

Он крикнул:

— Молчи!

Перед ним блестел под осенним солнцем холодный пруд. Кузьма Андреевич долго стоял под ветлами, омываемый тихим потоком падающей желтой листвы. Середина пруда была подернута ветром, у берегов вода лежала синяя и гладкая. Против ветра неуклюже летел большой грач; он греб по воздуху крыльями, как черными веслами, он склонил голову с длинным железным клювом и внимательно, даже с насмешкой посмотрел на Кузьму Андреевича.

Чтобы отогнать лишние, неприятные мысли, Кузьма Андреевич стал считать, сколько же ему приходится хлеба на четыреста семьдесят трудодней. Он считал сначала полпудами, а потом мешками: желто льется гладкое, прохладное зерно, лязгают весы, кренятся и кряхтят подводы, лошади тянут их, широко расставляя задние ноги. С веселым гудом

ходят на мельнице жернова, посвистывает тонкой струйкой мука, — белый пшеничный размол, — она теплая и мягкая, как молоко, и чуть припахивает паленым.

Кузьма Андреевич пошел по берегу, мокрые листья вместе с грязью липли к его сапогам. Он шел осторожно и плавно, точно боялся расплескать свои уютные мысли. Но эти мысли оказались очень непрочными и сразу улетучились от случайной и густяковой причины — живого блеска стекла. Кузьма Андреевич сапогом ковырнул стекло, — это было плоское доньшко белой бутылки. Кузьма Андреевич раздраженно швырнул его в воду, оно всплеснулось, исчезло, и долго расходился на том месте ленивый подытоживающий круг. Тогда Кузьма Андреевич топнул вдруг тяжелым сапогом; глаза его побелели, шопот его был свистящим.

— Нет, ты скажи за что? — спросил он.

Пустота была перед ним — синяя, холодная вода и голые деревья. «Дерево, — подумал он, озлобляясь, — без разума и без души, а дольше человека живет! Нет справедливости в таком законе!..»

## 24

Вечером доктор пошел прогуляться. Огороды были сплошь взрытыми; не успели убрать только свеклу: она поднимала широкую чугунино-литую ботву.

Кирилл суетился около своей пазенки, готовился к зиме, законопачивал щели. Заметив доктора, он быстро нырнул в низенькую дверь. Доктор вошел следом. Знахарь сидел на обычном месте, под образами: дрожала над его желтым черепом красная капля лампы.

— Ты напрасно стараешься, — сказал доктор. — Зимовать тебе здесь не придется.

— А ты сядись, золотой, — певуче перебил его знахарь. — Ты сядись, чего ж говорить стоя. Чай, не ярманка.

Был он весь умиротворенный и благодостный, похожий на изображение Серафима-угодника; по затылку бежала от одного уха к другому тонкая седая кайма.

— Послезавтра я отправлю с почтарем заявление в милицию.

В маленькое окошко падал солнечный луч, совершенно чистый, без единой пылинки; пахло сухой полынью и ладаном; этот мирный запах обезоруживал, и доктор поддавался жалости.

— Ты успеешь убраться из деревни добровольно. Земли у тебя нет, хозяйства тоже. Подниматься тебе легко.

— Я все молюсь... все молюсь,—невыпадал ответил Кирилл.—Куды ж мне деваться теперь, золотой?

— Сам виноват...

— По-божескому,—начал Кирилл.

Доктор захлопнул дверь.

В оголенных полях сторожа миролюбиво окликали доктора, просили закурить. Падала роса; через брезентовые сапоги доктор чувствовал холодную влажность травы. Раздумывая о Москве, он незаметно ушел далеко. Прямая и гладкая река непоминала своим серым и тусклым блеском асфальтированное Ленинградское шоссе; так же ровно ограживали ее деревья; доктору до боли захотелось услышать автомобильную сирену. Было тихо. Где-то, в страшной вышине, под самыми звездами, тонко и напряженно высвистывали утки: летели на юг. Верхушки стогов всплывали над белесым туманом. И доктору вдруг показалось, что когда-то он видел уже все это: и холодную реку, и выгнутый месяц, и стога, похожие на татарские шапки; было так же сыро, таким же пепельным призраком летела сова. Это состояние, когда все казалось уже бывшим и теперь повторяющимся, он испытывал не в первый раз; ему захотелось продлить это странное состояние, но как только осознал он желание продлить, все вдруг стало опять обычным, и стога уже не казались такими исконно-русскими и древними, и стала заметной темная дырка на брезентовом сапоге.

## 25

В это время шло заседание правления. Председатель заканчивал доклад об итогах уборочной и распределении урожая по трудодням. Он оперся локтем на кипу рыхлых, сальных бумаг; придавленные в середине, они топорщились по краям.

Кузьма Андреевич сидел в тени, спиной к двери и притворялся, что внимательно слушает. Тревожные и неприятные мысли, томившие его днем, исчезли; попрежнему неловко было ему смотреть в глаза председателю и правленцам.

— Переходим к следующему вопросу,—сказал председатель, и в его руках появилась тетрадь в клеенчатой обложке.

Он медлил, смиряя волнение, скручивал тетрадь в тугую трубку, точно выжимал; клеенчатая обложка поскрипывала. Правленцы откашливались, готовясь слушать.

— Это—план,—сказал председатель.—План колхозной жизни. Сочинил я его цельные полгода, а нынче хочу посоветоваться. Как мы должны идти к зажиточной жизни, то первое дело нам без электричества невозможно. Магистраль от нас за двенадцать километров, значит, столбов...

Он развернул тетрадку. Он читал, бережно раздувая слипшиеся страницы. Окно обрывалось в черную бездну. И председателю не хотелось верить, что перегнувшись через подоконник, он может ощупать сырую землю, ветхую завалянку и жгучую жесткую крапиву. И легко вообразить, что сидит он, Гаврила Степанович, с правленцами в новом доме, на втором этаже; сидит он и переговаривается с Москвой по телефону; заседали всю ночь—рассвет, и бледно проступает в тумане колхоз; он виден из окна целиком—большой, упирающийся в самую реку, устроенный точь-в-точь по записям в клеенчатой тетрадке. Столбы сжимают фарфоровыми кулаками провода и несут их далеко, с пригорка в сырую низину, за двенадцать километров, к магистральной, а в самом колхозе провода расходятся к новой школе, больнице, свинарникам, коровникам, конюшням, амбарам, теплицам, инкубатору, мельнице, маслобойке и мужицким избам; все это белое, чистое, општукатуренное снаружи, чтобы не схватило пожаром. В березовой роще—аллея, скамейки, таблички; парни и девки ходят в рощу крутить любовь, а ребяташки... ох, эти ребяташки!—пить березовый сок, за что и бывают нещадно секомы ремнем или прутом, потому что родителей штрафуют, согласно приказа, за порчу стволов. И строится в березовой роще (председатель все-таки не смеет подумать, что уже готов,—только строится) театр, где будут играть актеры и кино. Посреди всего этого великолепия, белого, чистого и просторного, обозначенного вывесками, ходит он, Гаврила Степанович, в городском пиджаке, в соломенной шляпе с черной лентой, в желтых полуботинках и объясняет приезжим экскурсиям новую жизнь.

Так думал председатель, читая свой план. Он взглянул на Кузьму Андреевича и осекся. Как хорошо он знал эти поджатые губы, ушедшие вглубь матовые, без блеска, глаза; и весь-то мужик в такие минуты, непроницаемый и бесчувственный, сидит, похожий на жестокого деревянного пидла;

на его широкой груди не шелохнется коричневая лопата, и проседь на ней—как трещины.

Председатель свернул тетрадь в трубку и бросил на стол. Она выпрямлялась медленно, точно береста, брошенная с жару на снег. Председатель встал, прошелся, продавливая половицы,—раскоряченный и тяжелый,—из угла в угол. Правленцы молчали. Председателю хотелось крикнуть: «Да неужто все время канатами вас, чертей, с одной ступеньки на другую тащить!» Он остановился перед Кузьмой Андреевичем.

— Не идравится? Испугался? Не бойся, хлеба твоего не возьмем.

— Чего ж пугаться?—возразил Кузьма Андреевич, обиженный председательским тоном.—Пугаться нам нечего: теперьча насчет мужицкого хлеба законы пошли строгие... Справедливые законы. Теперьча хлеба у мужика не возьмешь... А план твой—дело хорошее. Строиться нам так и так не миновать, с этим планом выйдет дешевле...

— Начало опять же есть,—подхватил председатель.—Силосная башня—раз!—Он загнул палец.—Коровник!—Загнул второй.—Амбулатория!

Кузьма Андреевич нырнул в тень. Собственные слова он понял как лживые и лицемерные; это было особенно противно потому, что план несколько не испугал его, наоборот, понравился и казался вполне осуществимым. Но говорить о нем Кузьма Андреевич не мог; так же, как не мог смотреть в глаза председателю.

Он шумно встал и вышел на улицу. Председатель проводил его удивленным взглядом.

Ночь была туманной; предметы расплывались, увеличивались и были неприятно чужими. Кузьма Андреевич чувствовал настоятельную необходимость что-то сделать, и сделать немедленно; иначе, казалось ему, тоска, томившая его целый день, отвердеет и останется в нем навсегда.

В сенях нащупал он косу; оберегая чужие ноги, заботливо повернул ее жалом к стене. Но это пустяковое дело не успокоило его; досадуя на стук каблуков, он вернулся в комнату. Там горячо спорили, на сколько голов устраивать свинарник и когда начинать постройку электрической линии—сейчас или через год.

— Начинать нужно в этом году,—очень громко сказал Кузьма Андреевич.

Тяжесть общего молчания давила его; он снова заговорил еще громче, точно бы сплюй голоса мог придать вес своим пустым и плоским словам. Он то оправдывался, то объяснял; специально затем, чтобы понравиться партийному Гавриле Степановичу, похвалил советскую власть и сам застыдился этого.

В сенях послышался шум, шаги, потом голос Тимофея: «Тише вы, общарапаете!» Председатель высунулся в сени посмотреть и отступил изумленный, пропуская Тимофея и двух его старших сыновей. Ребятишки несли какие-то длинные доски, скрепленные поперечинами. В комнате запахло сырой краской. Серьезный и торжественный, Тимофей перевернул доски. По голубому фону вкривь и вкось разъезжались разноцветные буквы—на одной доске: «П р а в л е н и е к о л х о з а в л а с т ь т р у д а», на другой: «А н б у л а т о р и я».

— Как я на тяжелую работу не могу идти,—сказал Тимофей,—и справку имею от доктора на целый месяц, а днем я свободный, то сделал я вывески.

Ему хотелось говорить убедительно. Он добавил:

— Масляная краска. Николаевская.

Помолчал и еще добавил, вздохнув:

— Бесплатно...

Этими вывесками он хотел застраховать себя от исключения. Он был обречен доктором на целый месяц безделья в коровнике; он твердо решил после отпуска работать не хуже других; он уже сказал об этом колхозникам, но боялся, что они не поверят в честность его намерений и выгонят раньше чем через месяц. Эта мысль не давала ему покоя; он принес вывески, как вещественное доказательство своего раскаяния.

— Ну что ж,—сказал председатель,—вывески тоже дело. Спасибо, Тимофей... Дурь-то, значит, выветрило из головы?

— Дурь!—торопливо ответил Тимофей.—Не отказываюсь, была дурь. Только городской доктор-профессор говорит, что эта дурь произошла от килы. Так прямо и сказал: «В твоей,—говорит,—голове от этой килы должна быть дурь. Гной на мозги бросился...» А нынче я прояснел...

Кузьма Андреевич потрогал вывески пальцем.

— Отойди!—заорал Тимофей.—Не видишь—сырая! Лезут... всякие...

Кузьма Андреевич опешил от такой дерзости: сам председатель никогда не кричал на него. Кузьма Андреевич нахму-

рился, готовя лодырю и нестоющему мужичонке Тимофею ответ, достойный лучшего ударника и члена правления. И не смог ответить—как будто Тимофей в самом деле имел право грубиянить с ним.

— Нынче нам от этого плану податься некуда!—вдруг закричал он, опьяняя себя, бестолково размахивая руками.—Начало ему положено, верно, мужики? Как все мы есть советской власти защита и колхозники!..

На полуслове он оборвал свою речь и подумал вслух:

— А доктор-то, Алексей Степанов, уезжать хочет.

Он нечаянно сказал это; хотел только подумать. Он испугался. Председатель требовательно смотрел на него.

— В Москву?

— В Москву,—ответил Кузьма Андреевич, и с этим коротким словом свалилась тяжесть, томившая его целый день.

Он смотрел прямо в председательские глаза. Проверая себя, он посмотрел в глаза всех правленцев поочередно. Потом грудью, как медведь, надвинулся на Тимофея.

— Ты что?.. Ты с кем говоришь, а... Ты что орешь?..

Тимофей завял и молча отошел к двери.

Кузьма Андреевич, стыдясь сознаться, что намерения доктора были ему известны еще утром, сказал, что, выйдя на крыльцо, встретил Устинью, которая и сообщила ему об отъезде. Председатель огорченно выругался и начал составлять бумагу в рик. «Просим принять меры,—писал он,—как в колхозе без амбулатории жить невозможно...» Члены правления всполошились: Кузьма Андреевич облегченно и радостно торопил председателя, доказывая ему необходимость доставить бумагу в рик завтра же утром. Но это косвенное участие в задержании доктора не удовлетворяло его; быстрым шагом он направился в амбулаторию.

— Ты кто есть,—баба?—сурово сказал он Устинье.— Неужто удержать не можешь? А хвалилась!..

— Привязывать его, что ли?—закричала она и всхлипнула.

— Эх!.. Вы, бабы, завсегда секрет имеете, как мужчинов к себе привязывать. А ты?.. Я да я, да лучше меня бабы нет. А самого своего бабского дела не можешь исполнить... Гаврила Степанович, и то говорит...

Он не щадил ее женской гордости. Она смотрела оскорбленными глазами. Она вытолкала его. Он пошел обратно, в правление, где возбужденно спорили мужики, а Гаврила Степанович портил четвертый лист, сочиняя бумагу в рик.

Доктор вернулся поздно. Устинья встретила его с неожиданной приветливостью. На ужине она приготовила молочную лапшу. Пряный, густой пар оседал на холодных оконных стеклах. Устинья не пожалела сахара, а доктор не любил сладкого и, несмотря на ее настойчивые уговоры, съел всего одну тарелку.

Она собрала посуду, вытерла концом длинного расшитого полотенца стол. В дверях она задержалась дольше обычного. Влажный ее взгляд был вызывающим, губы набухшими.

Доктор накинул крючок и стал раздеваться. Правый сапог, порванный над задником, застрял. Доктор рванул ногу; шов разошелся с шипением; сапог лежал на полу, распластаный, как треска. Доктор швырнул его под скамейку; он стукнул глухо, точно пол был застелен войлоком.

Доктор потушил лампу. Необычайно холодной показалась ему простыня. Что-то звеняще, как большой комар, запыло в комнате. Тени сдвинулись в угол; казалось, что угла этого вовсе нет, а комната выходит прямо в ночь, в поле—ветреное, залитое ледяным лунным светом.

Доктор закрыл глаза. Тело его потеряло вес и плыло, тихо вращаясь. К горлу подкатился тугой комок; холодный и липкий пот заливал лицо. Грудь раздувалась впустую, не забирая воздуха.

— Уж не заболел ли?—сказал доктор и не услышал своего голоса.—Конечно, заболел,—решил он,—вот некстати!

Бредовое забытие охватывало его, отчаянным усилием он заставил себя очнуться. «Скверно»,—подумал он, встал и, пошатнувшись, схватился за стену. Пальцы его прыгали по округлостям бревен. Он опустился мимо кровати, на пол. Сидя в одном белье, на шершавых досках, он весь натужился, чтобы прояснить сознание. Это удалось ему; правда, на полминуты, не больше; он припомнил весь день и не нашел симптомов болезни.

Шею его растянуло. вдруг резкой судорогой; опять подступила тошнота; он ощутил во рту медный вкус и понял, что отравился.

Он хотел подняться—и не смог. Он пополз. Очень ядно он вообразил нелепость своего большого тела, распластавшегося на полу. Царапая дверь, обламывая ногти, он кое-как

дотянулся до крючка, откинул его. И то, что он увидел за дверью, показалось ему сначала наступлением нового бреда: Устинья стояла там, держась за притолоку. Он протянул руку, ожидая схватить воздух, но схватил подол ее юбки. Устинья склонилась к нему. Горячие судороги зигзагами шли по его телу. Он задыхался.

— Молока! Скорей!

Юбка выскочила из его пальцев; скрипнул ноготь, проехавшись по грубой ткани: Пронзительно кричала Устинья. Откуда-то возник Кузьма Андреевич; он поил доктора молоком у открытого окна; докторпил с жадностью, сейчас же извергая все обратно.

Гаснущим сознанием он уловил возбужденные слова Кузьмы Андреевича:

— Дура ты! Кто же тебе эдак приказывал?

Красные, зеленые круги все быстрее и насмешливее вращались перед ним. Кузьма Андреевич тащил его к постели. Докторские ноги волочились далеко сзади и прыгали на стыках половиц.

...Ночью он с помощью Кузьмы Андреевича несколько раз подходил к окну пить молоко. Опасность уже миновала, сердце работало ровнее, дышалось легче. Но во рту еще чувствовался медный вкус.

## 27

Он проснулся и долго лежал с закрытыми глазами, прислушиваясь к сдержанному, мерному говору мужиков. Было уже поздно. Солнце стояло напротив окна и светило ему прямо в лицо. Он знал это, потому что видел в опущенных веках собственную, розовую и прозрачную кровь.

Он открыл глаза, приподнял с подушки тяжелую голову. Он увидал у своей постели председателя Гаврилу Степановича и все колхозное правление. Кузьма Андреевич сердито зашептал, и все вышли на цыпочках, неуклюже раскачиваясь. Шапки остались в комнате. Доктор понял, что мужики вернутся.

— Лежи, лежи,—сказал Кузьма Андреевич.—Ай скушно? Хочешь, про старину скажу?.. Я ее, мил человек, насквозь помню. Пятерку заработал. Да-а-а... Места наши в старину были глухие да лесистые... Ничего-то мы не слышали, ничего не видели, а чтоб радиво—этого даже не понимали...

Да-а... Приехал к нам, значит, из купцов из московских Флегонтов Маркел Авдеч...

Кузьма Андреевич приостановился, потом сказал перешитительно:

— А знаешь, мил человек, ну ее к бесу, эту самую старшину! Брюхо-то прошло?

Превозмогая слабость, доктор селся и подошел к окну умываться. Кузьма Андреевич подхватил его под локоть.

— Я сам,--поморщился доктор.

Кузьма Андреевич вылил все ведро на его круглую голову. Вода была холодная и густая, ветер обдувал мокрое лицо доктора. Он видел на рябиновом листике стрекозу, она покачивала длинным с надломами туловищем; струящиеся крылья ее были едва отличимы от воздуха. Красноголовые муравьи тащили разбухшую от сырости спичку, белобрюхий паук поднимался на крышу, раскачиваясь и вбирая в себя блестящую шутку—словно была в паучьем животе заводная катушка. Петух горловым голосом разговаривал с курами; его мозолистая нога дергалась отрывисто; он раскапывал навозную кучу, а оттуда столбом, как светлый дым, поднимались мошки, потревоженные в своем предзимнем сне. Оклевывая рябину, летали растянутыми стайками дрозды,—все было четким, прозрачным и на всем лежал спящий и горьковатый осенний, осиновый холодок. Доктор подумал, что мог бы не увидеть сегодняшнего утра, ни стрекозы, ни муравья, ни рябины; доктор вздохнул глубоко... еще глубже... и еще глубже, потом потянулся, полный желанием ощутить каждый свой мускул, все свое тело—на земле.

— Молочка?—спросил Кузьма Андреевич.—Ай чайку согреть?

— А где Устинья?

— С Гнедовым Силантием в район поехала. Кирилла в милицию повезли.

— Кирилла?—повторил доктор.—Да...Конечно, Кирилла.

Он схватил старика за рукав.

— Садись и рассказывай, Кузьма Андреевич, все рассказывай. Я ничего не могу понять.

— Да ведь чего ж сказывать, мил человек... Сказывать тут нечего; хотел он тебя извести, этот самый Кирилл. Устинья-то, конечно, по дурости за приворотом полюбовным к нему пошла, по бабьей своей глупости.

Неслышно открылась дверь, и гуськом, по одному, соблю-

дая старшинство, вошли правленцы. Сзади всех Тимофей. После вывесок он считал себя в праве принимать самое горячее участие в обсуждении различных колхозных дел.

Мужики сели на липовую скамью. Гаврила Степанович поздравил доктора с благополучным выздоровлением.

— Спасибо,—ответил доктор и замолчал.

Тогда Гаврила Степанович начал держать речь. Он приготовил ее заранее; он думал, что скажет ее очень гладко, но сбился с первых же слов.

— Ходатайствуем,—сказал он.—Все ходатайствуем...

От мужиков шел крепкий запах пота, лица были серьезны и хмуры.

— Никак невозможно уезжать от нас...

Доктор молчал. В голосе Гаврилы Степановича нарастала тревога. Он резко рванул свою сатиновую рубашу. С костяным переливчатым треском посыпались пуговицы. Доктор вздрогнул. Мужики подались к столу. Гаврила Степанович оттянул ворот рубашки. Пониже ключицы синел глянцево-белый шрам. Гаврила Степанович дышал тяжело. Он медлил говорить, боясь, что его повалит припадок.

— Ты вот грузчик,—наконец сказал он, растягивая слова.—Ты вот ученый. А я вот раненый. И на животе еще есть. И в ноге... Так ты, Алексей Степанов, за мою кровь учился! Мы к тебе с уважением, а ты приехал ровно на дачу—отдохнул да и обратно?

И тут всполошились мужики, загалдели, навалились на доктора, притиснули его к стене, каждый доказывал ему свое. Тимофей визжал громче всех: «Не пущать!»

— Тише!—рявкнул Гаврила Степанович и выхватил из кармана клеенчатую тетрадку.

Он обрадовался, вспомнив о ней; почему-то она казалась ему неопровержимым доказательством. Он положил ее перед доктором, развернул.

— Ты смотри,—амбулатория в нашем плане есть! Значит, весь ты наш план повалишь? Вот смотри—не вру; вот он, план!.. Вычеркни, ежели совести хватит! Ну, вычеркни!

Доктор перелистывал страницы. Сдержанно дышали мужики. Доктор поднял голову. Уши у него были красными.

— К чему столько шума?—спросил он.—Можно было тихонько поговорить. А то, смотри-ка... весь пол затоптали...

Закатное солнце пробивалось через редкую листву рябинника под окном; казалось—тяжелые, терпкие гроздья насквозь процитаны этим оранжевым, закатным светом.

Полчаса тому назад доктор порвал оба заявления—и в Мосздрав, и в милицию. Теперь он писал своему другу большое послание, и сердился на то, что мысли, воплотившись в слова, сейчас же теряют ясность и простоту.

«...но связи между моим решением остаться на два года в деревне и этими событиями ты не уловил до сих пор. Объяснить очень трудно; я, видишь ли, весьма гнусно чувствовал себя во время беседы с мужиками; это собственно была не беседа, а суд. Они обвиняли меня в том, что я отрицаю за ними право на новую жизнь, план которой они представили мне. Амбулатория значилась в этом плане и против нее стояла пометка—красными чернилами, корявым почерком—одно слово—«выполнено». И ты понимаешь—я не мог зачеркнуть этого слова».

Доктор перечитал письмо, и опять оно показалось ему фальшивым и бледным. Он достал из ящика чистый лист и писал еще долго, не столько для друга, сколько для самого себя, чтобы понять собственные мысли и чувства.

«Я остаюсь в деревне еще на два года. Жду тебя в гости, места здесь чудесные, не хуже Петровского парка...»

И еще сильнее, чем вчера, охватила доктора тоска по бледным трамвайным молниям, по автомобильной сирене, по Москве...

Поздно вечером вернулась Устинья. Она прошла в свою комнату, не заглянув к доктору. Она что-то ворочала, гремела посудой. Доктор позвал:

— Устинья Димитриевна!

Молчанье.

— Устинья Димитриевна!

Она вошла.

— Что вы делаете там? Мы будем сегодня ужинать?

— Я уезжаю от вас,—сказала она.

— Ерунда. Я знаю, что вы ни в чем не виноваты...

Она заплакала, отвернулась.

— Деревня надсмеется теперь... А я? Что я—порченная или больная?..

Она хотела уйти. Он задержал ее. Она заплакала еще сильнее. Тихо сказала:

— Олешенька.

Ее смуглая шея дрогнула. Доктор резко махнул рукой, — точно сорвал что-то в воздухе, — решительно накинул крючок и потушил лампу.

Ночью он вдруг подумал, что Устинья, может быть, приписывает все случившееся действию приворота и жалеет знахаря Кирилла, попавшего в милицию.

— Устя, — сказал доктор, — ты все-таки медицинский работник. Как тебе не стыдно верить в какие-то привороты?

Она уже уснула. Доктор отвернулся. Забытье охватывало его. Он вздрогнул от осторожного, вкрадчивого шума.

У открытого окна стоял Кузьма Андреевич и шарил в комнате лучом своего фонаря.

— Я, мил человек, — успокоил он доктора. — Сторожей поверить ходил. Как спите-то, вместе?

— А тебе что? — обозлился доктор. — Дай ты мне хоть ночью покой!

— Мне покой твой, Алексей Степанов, не нужен... Спи-те-то как, вместе?... Я чегой-то не разберу в темноте...

И направил широкий луч прямо на кровать.

— Уйди, ради бога! — зашипел доктор.

— Вот и хорошо, что вместе, — мирно ответил Кузьма Андреевич. — Она — баба королева, обижать ее не за что... Чистая баба, строгая... Вот и хорошо... А то носил ты в себе смятенье и нарушенье порядка.

— Какого еще порядка?

В подполе пищала мышь; стрекотал за печкой сверчок.

— А как же... Все в мире рассчитано, мил человек... Раз ты мужик, то приходится на тебя одна баба. Старая твоя любовь, к примеру, с другим живет, а того мужика старая баба опять же с другим. Так она цепь-то и переходит, и опять ворочается к тебе, с Устиньей. Значит, долждн ты с ней жить.

Старик шумно высморкался.

— Вот потому, полагаю, магометанский закон неправильный. Он, магометанин, вместо одной бабы трех заберет, а где-нибудь, может, в Африке, через него двое мужиков без баб мучаются... Цепь-то до них дошла — пустая. Нет справедливости в таком законе!

Доктор яростно крикнул. Кузьма Андреевич заторопился.

— Спи, мил человек, спи!..

Луч выскользнул из комнаты. Доктор смотрел в окно. Напротив амбулатории четко вырисовывалась на ровном небе яблоня; крупные, налитые звезды просвечивали сквозь ее поредевшую листву; казалось, они свисают на тонких ножках попеременно с белыми яблоками.

В последний раз послышался голос Кузьмы Андреевича:

— Так я завтра пшеничку-то привезу.

29

Кузьма Андреевич возвращался домой, утупленный и собой, и доктором, и Устиньей, и председательским планом. «Деткам-то, деткам хорошо будет. А вот ежели, у меня и деток нет? Дотянем уж, видно, в хибарке...»

Он так хорошо знал свою избенку, что осматривал ее на ходу воспоминанием—и огорчался. Мечту о хрулинском доме похоронил он собственными руками, навсегда, а другого свободного кулацкого дома в деревне не было.

«Ну ладно... Хлеба много, и то слава богу. Хлебом нынче хоть завались».

И он в десятый раз стал подсчитывать свою долю, и в десятый раз вышло—двести девяносто четыре пуда. «Много!»—подумал он и вдруг сообразил, что ведь это—шестьдесят пятериков, и даже вспотел. Он остановился на лунной дороге. Он проверил свои подсчеты; тут его ударила вторая мысль и он вспотел второй раз.

Они со старухой могли съесть за год самое большее двадцать пять пудов; остальные—пятьдесят пятериков с лишним—были свободными; при нынешней цене на хлеб можно построить дом не хуже хрулинского.

— Вот те раз!—прошептал он, присаживаясь на бревно.—Гнался за одним, а схватил другой!

В эту ночь старуха легла спать, не дождавшись его. Он ходил по деревне, выбирая место для нового дома. И деревенский косогор, на котором он прожил шестьдесят четыре года, сразу вдруг изменился: какие-то ямы—значит, сырость, подгниет пол; какие-то рытвины, бугры—придется заравнивать, не годится. Около пруда? Тоже не ладно—лягушки окаянные спать не дадут. Опять же—комар.

Собаки удивленно рычали на него из подворотен; он

все ходил; по несколько раз возвращался на одно и то же место и опять бежал искать другое.

Ему понравилась ровная, высокая площадка. Путаясь в сухом и цепком репейнике, он обмерил ее шагами. Остался еще запас для палисадника. Колодец вот далеко; придется уговаривать старуху.

Его окликнул знакомый голос. Из лунного тумана вышел председатель.

— Ты, что здесь ходишь, Кузьма Андреевич?

— Не спится чего-то... А ты?..

— То же... Место вот смотрю—свинарник поставить.

Чмокая губами, рассыпая искры, председатель торопливо докурил цыгарку. Она зашипела в сырой траве.

— Ровно бы ничего место, а?..

— Это?—спросил Кузьма Андреевич с притворным пренебрежением.—Какое это для свинарника место? Колодец далеко...

— Выкопать можно.

— А сырость?

— Ну, откуда сырость?..

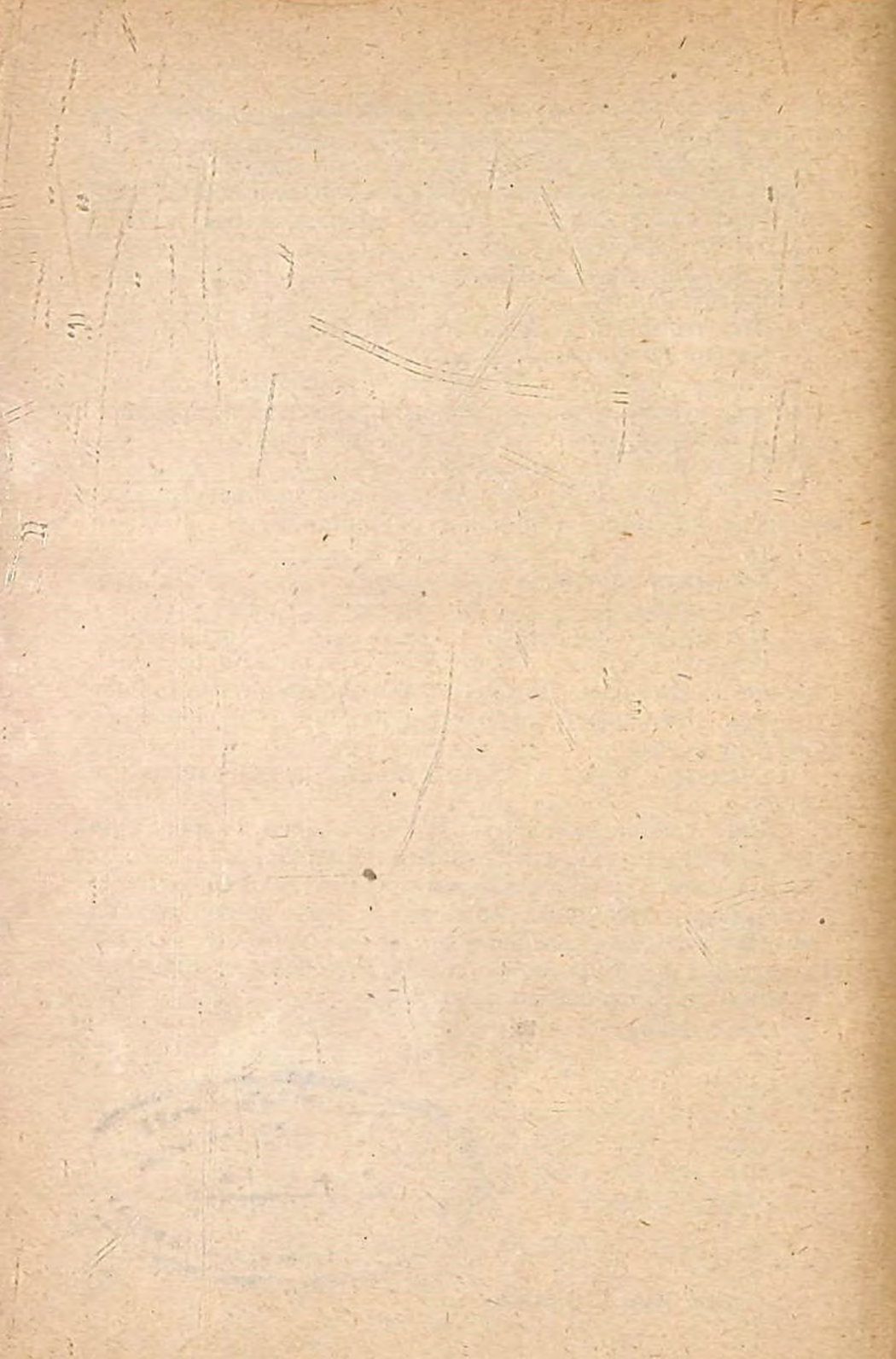
— Завсегда сырость,—подтвердил Кузьма Андреевич.— Я уж это место знаю. Не смотри, что высокое... На отшибе опять же... Нет,—решительно закончил он,—свинарник здесь ставить не годится.

Председатель молчал. Ветер сухо и тревожно шипел в репейнике.

— Идем,—вкрадчиво сказал старик.—Идем, Гаврила Степанов. Я тебе покажу, где свинарник ставить.

Они пошли. Луна светила им в спину; их тени выбежали вперед. Председатель шел прямо и размашисто, Кузьма Андреевич то-и-дело оглядывался на хорошее место, облюбованное для своего дома,—отставал, трусцой нагонял председателя и старался шагать с ним в ногу.





## СОДЕРЖАНИЕ

Поход «Победителя» . . . . .	3
Сто двенадцатый опыт . . . . .	49
Герой труда . . . . .	75
Отец . . . . .	86
Колесо . . . . .	97
Новый дом . . . . .	120

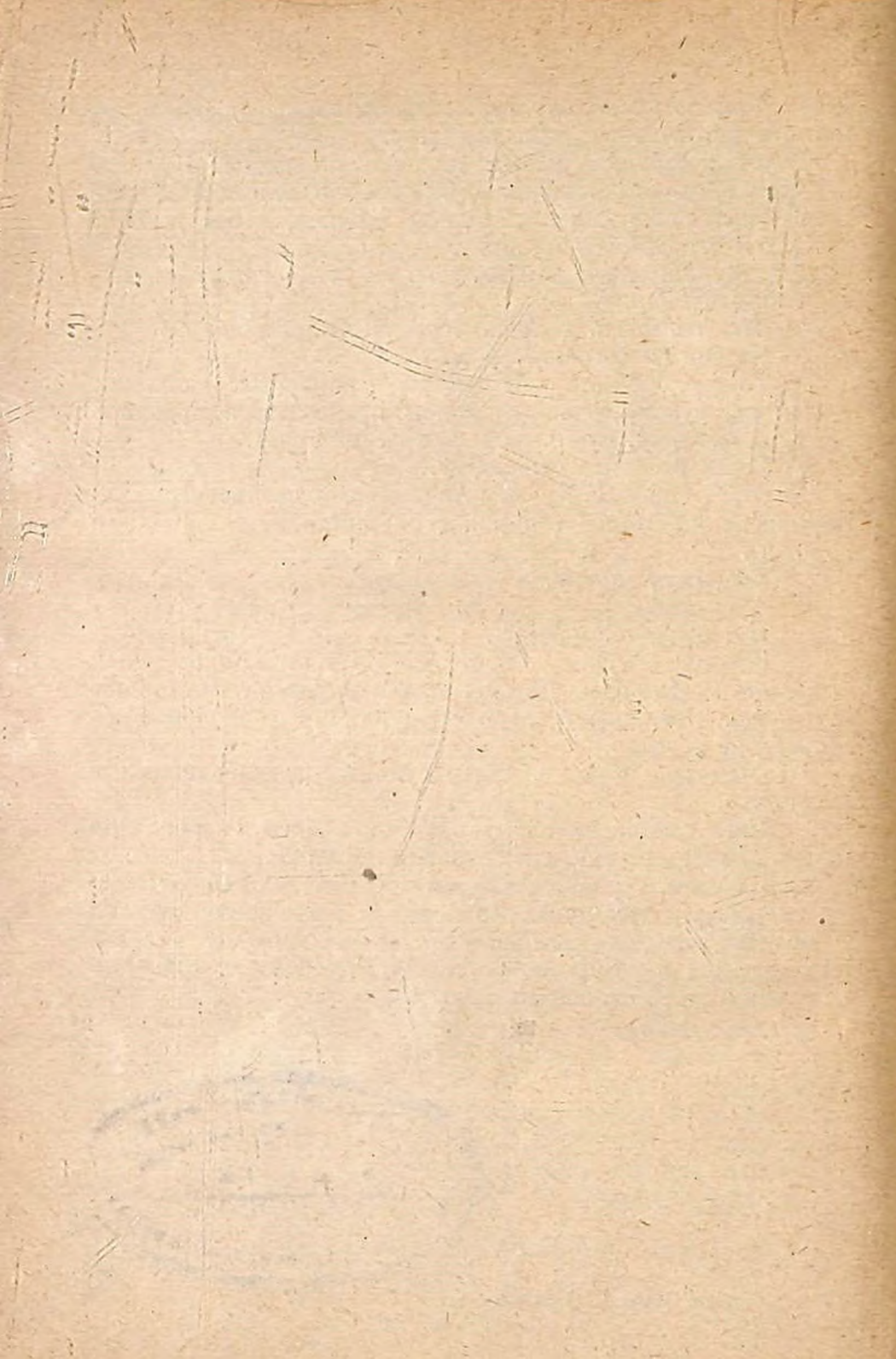
Книга повестей и рассказов Л. Соловьева включает повесть «Новый дом» и рассказы: «Поход «Победителя», «Сто двенадцатый опыт», «Герой труда», «Отец» и «Колесо».

Рассказы Соловьева в основном посвящены проблеме гибели мелких личных чувств и росту новых ощущений людей под влиянием социалистического строительства.

**ЧИТАТЕЛЬ,**

сообщите Ваш отзыв об этой книге, указав Ваш возраст и Вашу профессию, по адресу: Москва, центр, Никольская, 10, Государственному Издательству Художественной Литературы — Массовый Сектор.







ԳԱՆ Հիմնարար Գիտ. Գրադ.



FL0507456

400-1  
Цена 2 р. 25 коп.

Пер. 75 коп.

РД  $\frac{11}{4939}$



1934